

Ю.Н. Безелянский
**ОПАСНАЯ
ПРОФЕССИЯ:
ПИСАТЕЛЬ**

Юрий Безелянский

Опасная профессия: писатель

«Спорт»

2012

ББК 44.2

Безелянский Ю. Н.

Опасная профессия: писатель / Ю. Н. Безелянский —
«Спорт», 2012

ISBN 978-5-904885-67-0

Эта книга продолжает серию писателя Юрия Безелянского о знаменитых писателях России. В жанре мини-ЖЗЛ представлены прозаики и поэты XX века, от Максима Горького до Сергея Довлатова. В компактных эссе-биографиях прослеживается не только судьба творцов, но и отражается панорама противоречивого и трагического XX века, «века-волкодава», как назвал его Мандельштам. Книга насыщена различными фактами и деталями, информационно и эмоционально. Рассчитана на широкий круг читателей, на тех, кто любит Россию и русскую литературу.

ББК 44.2

ISBN 978-5-904885-67-0

© Безелянский Ю. Н., 2012
© Спорт, 2012

Содержание

Авторское предисловие	6
Буревестник, пойманный в сети. Максим Горький (1868–1936)	8
Многоликий нарком просвещения. Анатолий Луначарский (1875–1933)	18
Эрудит истории. Евгений Тарле (1875–1955)	50
Противоречивый классик. Алексей Толстой (1882–1945)	55
Философ в тисках судьбы. Лев Карсавин (1882–1952)	63
Поэзия и лакейство. Демьян Бедный (1883–1945)	66
У времени в плену. Борис Пастернак (1890–1960)	75
Истерзанный «веком-волкодавом». Осип Мандельштам (1891–1938)	80
Фрагменты из жизни мастера. Михаил Булгаков (1891–1940)	86
Искусство выживания. Илья Эренбург (1891–1967)	98
Перо, штык и любовь. Владимир Маяковский (1893–1930)	103
Конец ознакомительного фрагмента.	108

Юрий Безелянский

Опасная профессия: писатель

© Безелянский Ю. Н., 2012

© Издательство «Человек», издание, оформление, 2012

* * *

Авторское предисловие

Я согласен с изречением Авраама Линкольна, что «книги нужны, чтобы напомнить человеку, что его оригинальные мысли не так уж новы». Но при этом всегда приятно узнать, что не только тебя одного обуревают какие-то тревоги и страхи, волнуют «проклятые вопросы» бытия и ты сталкиваешься с психологическими коллизиями и попадаешь в определенные ситуации, которые встречались на пути других. Короче, что ты не одинок в этом мире, и мы все одинаково «ходим под Богом», а индивидуальность лишь красивая фурнитура на нашей одежде. Хотя, возможно, я и ошибаюсь.

Жизнь замечательных людей (ЖЗЛ) интересна и полезна, но лично я, как автор, предпочитаю несколько иной формат: мини-ЖЗЛ. По натуре я не марафонец, а спринтер, и писать толстую книгу об одной персоне мне не под силу да и не очень интересно тонуть в многочисленных деталях и подробностях. Всегда можно выявить суть в коротком описании, выделить основные вехи и оттенить идеи в небольшом текстовом пространстве. Именно в таком ключе написаны мной книги «99 имен Серебряного века», «69 этюдов о русских писателях», «Золотые перья» и другие.

И вот новая книга. Произвольный подбор эссе-биографий российских писателей XX века. Сразу оговорюсь: всех охватить невозможно. Большинство выбрано под тему «Опасная профессия: писатель», «Художник и власть», «Творец и режим». В книгу попали те литераторы, которые напрямую сталкивались с «веком-волкодавом» (погибли, были репрессированы, затравлены критикой, испытали гнет и давление). Поэтому нет благополучных Шолохова и Федина, Тихонова и Маршака, хотя и им доставалось порой «на орехи». Увы, не дошли руки до Веры Пановой и Константина Симонова. Но все равно том получился увесистый и многоименный, на все литературные вкусы и пристрастия. Но еще раз подчеркну, что данная книга не имеет отношения к литературоведению, она из области человековедения. Конечно, есть упоминания о книгах и творческом процессе, но при этом высвечена судьба писателя, не только его взаимоотношения с властью, но и другие компоненты жизни: отношения к славе, к коллегам, к деньгам, к женщинам и т. д. И, конечно, боль и страдание, тоска и одиночество, неприязнь и ненависть, ревность и зависть, бескорыстие и милосердность, скупость и жадность, и прочие чувства и эмоции.

Ну, а теперь несколько слов про структуру книги. Писатели расположены в ней не по алфавиту, а хронологически, по годам рождения. И в начале не Аксенов с Бродским, а Максим Горький и первый нарком просвещения Луначарский. Такое построение дает возможность установить «переключку» и «столкновение» между художниками, жившими в один и тот же период времени. Так легче представить эпоху и почувствовать ее аромат. А главное, через писательские судьбы задуматься о жизни. Можно, конечно, глазами сатирика: «Жить вредно. От этого умирают» – Станислав Ежи Лец. И он же: «Жизнь идет по кругу все ближе к горлу». А можно вспомнить и Пушкина, его оду «Вольность»:

Увы! Куда ни брошу взор —
Везде бичи, везде железы,
Законов гибельный позор,
Неволи немощные слезы...

Но прочь, тоска и упадок! Отбросим в сторону мрачность. Как говорил французский критик Ален: «Пессимизм – это настроение, оптимизм – воля». Проявим волю к жизни или, по крайней мере, дочитаем данную книгу до конца. И сделаем выводы. Полезные выводы –

это те же деньги. Написал и сам ужаснулся: концовка вышла в духе современной жизни, где мало места литературному русскому языку. Один контент, драйв, сейв и хэппи-энд.

Буревестник, пойманный в сети. Максим Горький (1868–1936)

Горький прожил неровную, напряженную и сложную жизнь.
Юрий Анненков

Я люблю Горького, но он из XIX века. Он не для меня.
Нина Берберова



Линия судьбы

До недавнего времени отечественная литература напоминала двуглавого орла: одну голову русской литературы представлял Александр Пушкин, другую – советскую литературу – олицетворял Максим Горький. Так и парил орел с двумя головами, в одной связке. Но вот одну голову срубили. Остался орел, если так можно выразиться, единопушкинским. Без опасного соседства.

Действительно, Пушкин – это орел. Гордая и величественная птица. А Максим Горький все же не орел, а буревестник. Согласно словарю, это большая морская птица. Орел парит в горах, а буревестник реет над морем. Алексей Максимович, можно сказать, сам себя провозгласил гордым буревестником. Это понравилось, и Горького стали называть «Буревестником революции». Однако время русской революции прошло. Море успокоилось, и пропала необходимость в революционном клетоте – в оповещении о приближающейся буре.

Основателя советской литературы сегодня мало читают, в основном о нем пишут диссертации да громко шумят специалисты-горьковеды. А дальше – тишина. Неужели прав оказался Хемингуэй, когда-то давно сказавший про Горького: «Он был очень мертвый»?

125-летие Алексея Максимовича в 1993 году практически не отмечали. Было не до юбилея: справляли «поминки по советской литературе». Хотя на Западе имя Горького широко гуляло по страницам прессы и книг. Западные исследователи отдавали дань Максиму Горькому как человеку и художнику.

Некоторый бум произошел в 1996 году в связи с 60-летием со дня смерти пролетарского писателя. Появились новые книги («Горький без грима» и другие), на экране полыхнул фильм режиссера Сорокина «Под знаком Скорпиона», в котором Горький в ужасе прозревает и произносит до жути современную фразу: «Как они меня подставили!»

Однако от некоего шебуршания и мелькания материалов о Горьком фигура и личность писателя отнюдь не стала понятной и близкой. Он по-прежнему оставался непонятым, затерявшимся в высях. Он более миф, легенда, чем живой, во плоти человек (или по-горьковски: «матерый человечеще»).

Проницательный Исаак Бабель встречался с Горьким в мае 1931 года и записал в дневнике: «День 22-го провел за городом, на даче у Алексея Максимовича. Встретились мы с прежней любовью. Впечатления так сложны, что еще до сих пор не разберусь. Но старик, конечно, такой, какого другого в мире нет».

Прошли десятилетия, но не утихают высказывания о том, что Горький – человек еще далеко не раскрытый в биографической литературе. Еще Корней Чуковский писал: «Как хотите, а я не верю в его биографию. Сын мастерового? Исходил всю Россию пешком? Не верю...» А далее Чуковский отмечал некоторые черты Горького: аккуратность, однообразие, книжность, фанатизм...

Сколько написано о Горьком, а всей точности и окончательной рельефности как не было в горьковском образе, так и нет по сей день. Буревестник-сфинкс. Буревестник-загадка.

Поэтому предупреждаю сразу, что всё, что я пишу, – это никакой не полный портрет Алексея Максимовича, а тем более в рост. А всего лишь штрихи. Некий абрис. Лирико-политические зарисовки.

Он родился 16 (28) марта 1868 года. Пересказывать биографию бессмысленно, но все же необходимо напомнить, что с 10 лет Алексей Пешков – круглый сирота. И в который раз можно поразиться его удивительным похождениям, головокружительной смене мест и профессий: Волга, Астрахань, Моздокские степи, Дунай, Черное море, Крым, Кубань, горы Кавказа... Помощник повара на корабле, продавец икон, тряпичник, грузчик, рыбак... Ну прямо российский Франсуа Вийон, а уж Джек Лондон – точно! Но вот что удивительно: казалось бы, «хождение в народ» способствует развитию любви ко всем классам, но почему-то крестьян Горький не любил, даже презирал. Ему явно не по нраву была крестьянская долготерпимость и покорность.

Босяк всея Руси был большим поклонником Фридриха Ницше и даже усы носил подобной формы, как у немецкого философа. «Босяцкое ницшеанство» Горького советские критики позднее переименовали в «революционный романтизм». Ранние герои Горького – Челкаш и Мальва – суть сверхчеловеки с босяцкого дна. Это импонировало самому Алексею Максимовичу: он не хотел быть заурядным человеком и простеньким писателем, но сверхчеловеком и непременно классиком русской литературы. И в отдельные периоды жизни он чувствовал себя и тем и другим. Были моменты и иные, когда он ощущал себя слабым и беззащитным. Не отсюда ли попытка самоубийства, происшедшая 12 декабря 1887 года (в 21 год). Как писал «Волжский вестник»: «Нижегородский цеховой Алексей Максимович Пешков... выстрелил из револьвера себе в левый бок, с целью лишить себя жизни».

Начинал Горький как поэт и в 1889 году показал Владимиру Короленко поэму в стихах и прозе «Песнь старого дуба». Короленко ее раскритиковал, и молодой автор, следуя литературной традиции, сжег свой опус.

Потом Горький перешел на рассказы, пьесы, романы, их успеху немало способствовала сама личность Горького и время, в которое он появился. Как писал Георгий Адамович: «В девяностых годах Россия изнывала от «бездвременья», от тишины и покоя: единственный значительный духовный факт тех лет – проповедь Толстого – не мог ее удовлетворить. Нужна была пища поглубже, попроще, пища, на иной возраст рассчитанная, – и в это затишье, пол-

ное «грозовых» предчувствий, Горький со своими соколами и буревестниками ворвался как желанный гость. Что нес он собою? Никто в точности не знал, – да и до того ли было?..»

Аресты и заключения в тюрьму тоже способствовали его популярности (ах, как любят у нас гонимых и преследуемых!).

Горький шел путем, отличным от русских писателей-интеллигентов. Он посвятил себя ордену революционеров. Роковая связь с Лениным и с большевистской партией лишь укрепила в нем мечту о всеобщем равенстве и братстве, и вот тут Буревестник и крикнул: «Буря! Скоро грянет буря!»

Справедливости ради следует отметить, что не один Горький верил в очистительную миссию революционной бури (даже Зинаида Гиппиус жаждала перемен). Персонаж горьковской пьесы «Враги» (1906), молодой рабочий Ягодин, говорит: «Соединимся, окружим, тиснем – и готово».

Соединились. Окружили. Тиснули. И одним из первых, кто заблажил от новой жизни, был Максим Горький. Его знаменитые статьи-протесты 1917–1918 годов были собраны в сборник «Несвоевременные мысли». Политика насилия и кровь, пролитая большевиками, испугали Буревестника, хотя лично он находился при новой власти в привилегированном положении. Как писал Евгений Замятин: «Писатель Горький был принесен в жертву: на несколько лет он превратился в какого-то неофициального министра культуры, организатора общественных работ для выбитой из колеи, голодающей интеллигенции...»

Я не согласен с Замятиным, с его выражением «был принесен в жертву». Никакая это была не жертва, сам Максим Горький по личной воле играл роль жреца-спасителя, и эта роль ему нравилась. Он действительно многим помогал и многих спас от ЧК, не случайно у него не сложились отношения с лидером петроградских большевиков Зиновьевым. Клевала Горького и партийная печать. Журнал «На посту» прямо заявлял, что «бывший Главсокол ныне Центроуж».

В конце концов Горького спровадили за границу, там он осмысливал пережитое в революционной России и хмуро писал Ромену Роллану: «...меня болезненно смущает рост количества страданий, которыми люди платят за красоту своих надежд».

В Италии была совсем другая жизнь. В его доме всегда находились постоянные жильцы, гости и приживальщики. За помощью к Алексею Максимовичу обращались многие эмигрантские писатели. Он всем помогал, всех кормил, а на себя тратил ничтожную малость: папиросы да рюмка вермута в угловом кафе на единственной соррентинской площади. Полюбил он фейерверки, праздники, которыми была богата жизнь в Италии. Все это дало повод съехидничать Василию Розанову в одном из писем: «Наш славный Massimo Gorki».

И все же Россия тянула к себе Горького, к тому же новый хозяин страны Сталин принимал немалые усилия, чтобы заполучить писателя, побудить его к возвращению. Горький со своей популярностью, авторитетом, влиянием и значением в мировой культуре должен был украсить фасад СССР. Гуманизм Горького, по идее Сталина, должен был прикрасить преступления режима.

Интересно читать переписку Сталина и Горького. Писатель написал вождю более 50 писем, а все, кстати, эпистолярное наследие Горького составляет гигантскую цифру – 10 тысяч писем, из которых до сих пор не опубликовано более 15 процентов.

Горький – Сталину, 29 ноября 1929 года, Сорренто:

«...Страшно обрадован возвращением к партийной жизни Бухарина, Алексея Ивановича (Рыкова. – Ю. Б.), Томского. Очень рад. Такой праздник на душе. Тяжело переживал я этот раскол.

Крепко жму Вашу лапу. Здоровья, бодрости духа!

А. Пешков».

Так и тянет скаламбурить, что Пешков остался пешкой в сложной политической игре вождя. В конечном счете Горький и был пожертвован как пешка, когда выполнил свою функцию гуманистической вывески Советской страны и стал раздражать своим чрезмерным человеколюбием. Но это произошло не сразу. Поначалу Горькому всё понравилось по возвращении на родину. Он верил в происходящие в стране процессы и ни на секунду не допускал, что они сфабрикованы. Клеймил «врагов народа»: «Если враг не сдается – его уничтожают» – печально знаменитая статья Горького в «Правде» от 15 ноября 1930 года. Дружил с наркомом внутренних дел Ягодой. «Освятил» рабский труд заключенных на Беломорканале. Провел Первый съезд советских писателей. Он много сделал позитивного для Сталина и Страны Советов. Был за это возвеличен и восхвален (город Горький, улица Горького, театр имени Горького и т. д.). Жил Горький в своеобразной золотой клетке, бдительно охраняемой НКВД, многое не увидел и многого не понял, но постепенно начинал прозревать, ведь не случайно, что он так и не написал панегирик Сталину, которого от него так ждали. Рука не поднялась?..

«Предлагаю назвать нашу жизнь Максимально Горькой», – как-то пошутил Карл Радек. Но писателю было не до шуток. Отношения с вождем становились все более напряженными, смею предположить, что оба – Горький и Сталин – разочаровались друг в друге.

Горький дважды пережил драму личного сознания: в начале революции, в 1917–1918 годах, и в середине 30-х, на взлете строительства социализма. Судя по письмам и высказываниям, он горько жалел, что стал соавтором и соучастником величайшего иллюзиона XX века – строительства государства справедливости и правды, счастливого единения рабочих и крестьян при массовом истреблении остальных «враждебных» классов.

Горький умер накануне приезда в Москву двух интеллектуалов Запада – Андре Жида и Луи Арагона. Весьма вероятно, что он высказал бы им все наболевшее. Но эта «исповедь» не состоялась. Зловещим знаком предупреждения стала катастрофа гигантского самолета «Максим Горький», случившаяся за год до смерти писателя – 18 мая 1935 года.

Не будем муссировать смерть Буревестника: убили, отравили, валить всё на «железную женщину» – Марию Будберг. Не это главное: умер он естественной смертью 18 июня 1936 года или его «убрали». Главное то, что он был Буревестником в клетке. В сетях. Скованным и фактически замурованным. Он выполнил свою историческую миссию «освещения» революции и вынужден был покинуть сцену. Роль сыграна. Мавр оказался ненужным.

Поэт Александр Прокофьев вспоминал: «Умер Горький. Вызвали меня из Ленинграда – и прямо в Колонный зал. Стою в почетном карауле. Слезы туманят глаза. Вижу, Федин слезу смахивает. Погодин печально голову понурил. Вдруг появился Сталин. Мы встрепенулись и... заплодировали».

Хороший эпизодик, не правда ли? Он говорит о многом.

Христианский мыслитель, историк культуры и, естественно, эмигрант Георгий Федотов откликнулся статьей «На смерть Горького». У нас она малоизвестна, и поэтому имеет смысл привести отрывок из нее:

«Горький никогда не был русским интеллигентом. Он всегда ненавидел эту формацию, не понимал ее и мог изображать только в грубых карикатурах... Горький не был рабочим. Горький презирал крестьянство, но у него всегда было живое чувство особого классового самосознания. Какого класса?... Тех классов или тех низовых слоев, которые сейчас победили в России. Это новая интеллигенция, смертельно ненавидящая старую Россию и упоенная рационалистическим замыслом России новой, небывалой. Основные черты нового человека в России были предвосхищены Горьким еще 40 лет тому назад... Он всегда был с еретиками, с романтиками, с искателями, которые примешивали крупицу индивидуализма к безрадостному коллективизму Ленина... Добрая прививка нищезанятия в юности сблизил Горького

с Лениным в этой готовности бить дураков по голове, чтобы научить их уму-разуму. Но, в отличие от Ленина, Горький не заигрывал с тьмой и не раздувал зверя. Тьме и зверю он объявлял войну и долго не хотел признавать торжества победителей. Горький эпохи Октябрьской революции (1917–1922) – это апогей человека. Никто не вправе забыть того, что сделал в эти годы Горький для России и для интеллигенции...»

Говоря о 30-х годах, Федотов восклицает:

«Как он мог не заметить страданий народа, на костях которого шла стройка? Как он мог смешать энтузиастов с чекистами и скрепить своим именем бесчеловечность беломорской каторги? Что это? Слепота? Наивность?.. В каком-то смысле слепота усталости, которая не хочет правды. Слишком горька правда, и старый человек хочет успокоиться на подушке «достижений»...»

Федотову в эмиграции было легко писать всё, что он знал и думал. Но Горький жил в центре ГУЛАГа, о чем кричит одна из его записок: «Как собака: всё понимаю, а молчу».

Можно согласиться с выводом Дэна Левина в книге «Буревестник» (1965) о том, что Горький осознал, что прожил жизнь «не на той улице», и вложил это трагическое признание в уста Егора Булычева.

Как у человека, так и у личности Максима Горького – трагическая судьба. А судьба писателя Горького? Тоже непростая. Он хотел писать, как Бунин и Леонид Андреев, а писал, естественно, как Максим Горький. Русские писатели-эмигранты невысоко ставили всё то, что делал Алексей Максимович. Борис Зайцев утверждал, к примеру, что «литературно Буревестник убог... невелик в искусстве, но значителен, как ранний Соловей-разбойник. Посвист у него довольно громкий...»

Итак, литературный посвист...

Другие мнения: реалист, бытовик, или, как выразился Виктор Шкловский, «очень начитанный бытовик» («Детство», цикл «На Руси», добротные «Артамоновы» и т. д.).

Лучшая книга, на мой взгляд, – «Жизнь Клима Самгина», настоящая эпопея об интеллигенции, хотя Борис Парамонов (русский писатель, живущий на Западе) утверждает, что это всего лишь «мемуары плебея-комплексанта». Не согласен. Прекрасная книга, не потерявшая актуальности и сегодня. Вот вам маленький отрывочек:

«– Сотенку ухлопали, если не больше. Что же это значит, господа, а? Что же эта... война с народонаселением означает?»

Никто не ответил ему, а Самгин подумал и сказал: – Это – не ошибка, а система».

Ну что ж, заканчивая эти грустные строчки, вслед за Максимом Горьким зададим сакраментальный вопрос: «А был ли мальчик?»

Российский вопрос-фантом. А была ли империя?..

Линия любви

Получается, как в хиромантии: линия судьбы... линия любви... О первой мы уже рассказали, приступим ко второй. В романе Горького «Жизнь Клима Самгина» в уста диакона вложены следующие примечательные слова: «Любовь эта и есть славнейшее чудо мира сего, ибо хоть любить нам друг друга не за что, однако ж – любим!»

Женщины занимали в жизни Горького, без всякого преувеличения, большое место. Существуют люди холодного склада, с очень приглушенным темпераментом, для которых любовь и секс играют подчиненную, функциональную роль, поэтому они практически не переживают и не мучаются из-за встреч и разлук, не испытывают никакой «зубной боли» в сердце, по выражению Генриха Гейне. А есть люди, для которых женщина – почти всё в жизни: и неодолимое влечение, и сердечная мука, и стимул к творчеству, и еще многое...

Именно таким был Максим Горький. Он с юных лет откровенно тяготел к женщине, считая ее воплощением человеческой красоты.

Когда Горькому было тринадцать лет, он страстно влюбился в молодую вдову. А увидя однажды ее обнаженной, онемел от восторга. «В ее обнаженности было что-то чистое», – признавался он позднее. Горький посещал вдову по воскресеньям. Как правило, она охотно беседовала со своим юным обожателем, лежа в постели. И поза лежащей женщины, естественно, лишь распаляла будущего пролетарского писателя. Но однажды, по обыкновению придя к ней, Горький застал ее в постели с мужчиной, причем вдова при этом даже не покраснела. Мужчина – это одно, а вззирающий на нее влюбленными глазами юнец – это совсем другое. То, что было для нее обычным, житейским делом, для Горького стало потрясением: для него любовь была чем-то возвышенным и неземным, а тут плотские ласки, грубое «хапанье» руками. Отзвуки этого юношеского потрясения можно найти в недоумении Лидии Варавки (в романе «Жизнь Клима Самгина») после первой интимной близости: «И это всё. Для всех одно: для поэтов, извозчиков, собак?.. Но согласитесь, что ведь этого мало для человека!»

Однако позднее Горький осознал, что любовь возникает из естественной жажды обладания, как мы говорим сегодня, из зова пола (по-английски *sex appeal*). Вот такую любовь романтическую, но замешенную на плотском желании испытал Горький к Марии Деренковой. Любовь вышла безответной, и 12 декабря 1887 года 19-летний Горький стрелялся. Самоубийства не получилось, но и попытка имела серьезные последствия: пуля попала в легкое, и впоследствии развился туберкулез, из-за которого Максим Горький страдал всю оставшуюся жизнь.

Эпизод с попыткой самоубийства, по всей вероятности, лег в основу горьковского «Рассказа о безответной любви». Героиня рассказа – провинциальная актриса Лариса Добрынина – довела до самоубийства одного юного поклонника и по этому поводу говорит второму дыхателю: «Вот... убил себя милый, умный мальчик, потому что я не уступила его желанию. Но – что же мне делать? Неужели я должна покорно отдаваться в руки всех, кто меня хочет? Брагину, который третий год ожидает своего часа, вам – вы ведь, конечно, тоже надеетесь видеть меня на своей постели? Но, послушайте, неужели за то, что Бог наградил меня красотой, я должна платить каждому, кто ее хочет, если даже он противен мне?..»

Кто знает, может быть, именно этими словами и отказали Горькому, они врезались ему в память, а потом всплыли за письменным столом? Возможно, возможно...

И еще одна цитата из того же горьковского рассказа:

«В тот день была одна в белом кружевном платье, и сквозь кружево сияет тело ее, – смотреть больно. Все на ней белое, чулки, туфельки, каштановые волосы коронуют голову ее, и сердито-насмешливо улыбаются глаза. Лежит на кушетке, туфля с ноги упала, пятка круглая, точно яблоко. В комнате – солнце, цветы, – невыразимо великолепно была она в цветах и солнце. Страшная сила красота женщины, сударь мой...»

Конечно, горьковское письмо не бунинское, оно победнее в словах, менее узорчатое и без изысков, но напор, пожалуй, тот же, что у Бунина: того и другого женщины буквально завораживали. Но мы с вами отвлеклись. Итак, была у Горького несчастная любовь и попытка свести счеты с жизнью. Но что обычно лечит сердечные раны? Конечно, последующая встреча с другой, более доступной и податливой женщиной. Так произошло и у Горького.

На пути его встретила Ольга Каменская (или, по некоторым источникам, Каминская), опытная особа, старше Горького на десять лет. Встреча произошла спустя полтора года после покушения на самоубийство. В рассказе «О первой любви» Горький почти автобиографически признается: «Я был уверен, что именно эта женщина способна помочь мне не только почувствовать настоящего себя, но она может сделать нечто волшебное, после чего я тотчас освобожусь из плена темных впечатлений бытия, что-то навсегда выброшу из своей души,

и она вспыхнет огнем великой силы, великой радости». Опять же из этого отрывка встает фигура Горького как неисправимого романтика: великая любовь, великая радость... В жизни происходят, конечно, и любовь, и радость, но без этого велеречивого прилагательного «великий». Хочется великого, — это понятно, — но происходит всегда обыденное, а то и просто заземленно-забубенное. Хотя в случае с Ольгой Каменской про забубенность не скажешь, скорее тут видится некая пикантность ситуации: фактически она делит любовь между двумя солидными мужьями и пылким любовником Горьким. К тому же у Каменской на руках ребенок. Но что Горькому до всего этого? Он влюблен, он ослеплен, он жаждет быть вместе с любимой женщиной и предлагает ей развестись с официальным мужем, бросить неофициального и жить только с ним. Каменская отказывается от такого варианта, и они расстаются.

Однако судьба свела их через два года в Тифлисе. Каменская разведена, она свободна как птица, а в груди Горького по-прежнему не унимается костер собственных чувств.

Искры этих чувств вспыхивают на страницах рассказа «Макар Чудра».

«Мне до безумия хочется обнять ее, но у меня идиотски длинные, нелепо тяжелые руки, я не смею коснуться тела ее, боюсь сделать ей больно, стою перед нею и, качаясь под бурными толчками сердца, бормочу...»

На этот раз Ольга Юльевна уступила Алексею Максимовичу, и они стали жить вместе, и буквально в «шалаше» — в бане при доме священника-алкоголика. Рай в шалаше продолжался примерно два года. Горький каторжным литературным трудом зарабатывал деньги, а Каменская их легко тратила. К тому же время от времени появлялись ее бывшие мужья — Фома Фомич и Болеслав, и сердобольная женщина поддерживала их материально. Так что еще раз повторим: ситуация была пикантной. А что Горький? «Нет, я не ревновал, но всё это немножко мешало...» — можно прочесть у Алексея Максимовича.

Долго это продолжаться не могло, и пришел естественный конец. Дочка Каменской «плакала, и Каменская держала ее крепко за руку и молча минута за минутой переживала с ней вместе всё, о чем она плакала. В этот час мы хоронили вместе, она — свое детство, я — любовь».

А что хоронил Горький? Он прощался со своими романтическими иллюзиями. А жизнь тем временем катилась дальше. И вот уже новая героиня горьковского романа. В «Самарской газете», где он работал появилась семнадцатилетняя выпускница гимназии, золотая медалистка Катя Волжина. Она — корректор, он — маститый, к тому времени, фельетонист газеты, к тому же старше ее на десять лет. Можно поиронизировать, что теперь в роли старшей и умудренной жизнью вдовы выступает уже Алексей Максимович. Катя влюбляется в зрелого литератора. И немудрено: у него с годами появилось умение распускать павлиний хвост перед женщинами. Эту черту мгновенно заметил и описал Корней Чуковский, правда, немного позднее и по отношению к другой женщине, но это не суть важно. Вот эта дневниковая запись К. Чуковского от 24 сентября 1919 года:

«Заседание по сценариям. Впервые присутствует Мария Игнатьевна Бенкендорф, и, как ни странно, Горький не говорил ни слова ей, но всё говорил для нее, распуская весь павлиний хвост. Был очень остроумен, словоохотлив, блестящ, как гимназист на балу».

Это в 41 год, а тогда — в 27! — можете представить, как заносило Алексея Максимовича на поворотах. Короче говоря, Горький увлек Волжину и сделал ей предложение. Мать Кати препятствовала браку дочери-дворянки с «нижегородским цеховым». Горький хоть и ходил тогда в журналистах, но был по происхождению все же плебсом. Но Катя настояла, и 30 августа 1896 года они обвенчались в Самаре. Катя Волжина отныне стала Екатериной Пешковой. Через год, 27 июля 1897 года, у них родился сын Максим. Потом родилась дочь Катя, но вскоре умерла.

Однако семейная жизнь Горького с Екатериной Пешковой, как говорится, не заладилась. В этом союзе было больше дружеских чувств, чем любовных, и плотское томление

Горького в конце концов привело к разрыву. Но расстались они довольно мирно, более того, по-дружески, и остались на все последующие годы в друзьях, часто переписывались друг с другом, помогали советом, когда кто-нибудь из двоих в нем нуждался.

Выскажу предположение, что Горький расстался с Катериной Пешковой еще потому, что ему хотелось видеть рядом с собой женщину не домашнюю, а скорее светскую, блестящую, красивую, которая бы облагородила его провинциальную внешность и манеры. И такая женщина вскоре после разрыва с Пешковой появилась. Как говорится, на ловца и зверь бежит.

Зверь явился в образе роскошной актрисы Художественного театра Марии Андреевой. Встреча произошла в Севастополе в 1900 году, во время гастролей там Художественного театра. Гастроли проходили в каком-то летнем театре, и вот в антракте спектакля «Гедда Габлер» в дверь артистической уборной актрисы постучали. Голос Чехова:

– К вам можно, Мария Федоровна? Только я не один, со мною Горький.

«Сердце забилося – батюшки! И Чехов, и Горький! – читаем мы в воспоминаниях Марии Андреевой. – Встала навстречу. Вошел Антон Павлович – я его давно знала... за ним высокая, тонкая фигура в летней русской рубашке; волосы длинные, прямые, усы большие и рыжие, – неужели это Горький?..

– Вот познакомьтесь, Алексей Максимович Горький. Хочет наговорить вам кучу комплиментов, – сказал Антон Павлович. – А я пойду в сад, у вас тут дышать нечем.

– Черт знает! Черт знает, как вы великолепно играете, – басит Алексей Максимович и трясет меня изо всей силы за руку...»

Опускаем описание Горького, каким его представляла Андреева до встречи и каким он оказался на самом деле, это все как детали, главная фраза в воспоминаниях актрисы: «...и радостно екнуло сердце».

Сердце екнуло. Значит, любовь!.. Но в воспоминаниях Андреевой о любви нет ни слова (стеснялась? Не хотела? Специально замалчивала?). Есть другое: «Наша дружба с ним всё больше крепла, нас связывала общность во взглядах, интересах...»

Сошлись не только мужчина и женщина, сошлись два единомышленника, которые верили в царство добра и справедливости, путь к которому лежал через революцию. В лице Марии Андреевой Горький нашел отважную помощницу и отчаянную мечтательницу. Они соединили свои судьбы. Соединили де-факто, но не де-юре, официальной женой Горького оставалась Екатерина Пешкова. И когда Горький с Андреевой отправились в Америку добывать для революции деньги, там в прессе мгновенно возник скандал. Американские журналисты назвали Горького анархистом и двоеженцем. Дело дошло до того, что Горького и Андрееву не пускали на пороги некоторых гостиниц, наиболее пуританских, разумеется.

Новая жизнь с новой женой была бурной и деятельной: литература постоянно переплеталась с политикой, так было и в Италии, на Капри, где жили Горький и Андреева. Как писала она своей подруге Муратовой 11 сентября 1910 года: «Живем мы как когда, когда очень хорошо, иногда плохо, но всегда интересно и разнообразно».

Но разнообразие в какой-то момент перешло в однообразие, и Горький расстался с Марией Федоровной. Причем расставание опять-таки произошло тихо и мирно, без скандалов и битья посуды, – этого Алексей Максимович не выносил. Его всегда устраивал худой мир, который лучше любой ссоры. В 1925 году в Сорренто на вопрос поэта Вячеслава Иванова, как у него складываются отношения с Екатериной Пешковой, Горький ответил так: «Я с нею в самых дружеских отношениях, как и с Марией Федоровной Андреевой, с которой я жил десять лет. Мне удавалось избегать с близкими женщинами драм...»

Горький всегда стремился сохранить свое душевное спокойствие. А испытывали ли драмы его любимые женщины, получившие приставку «экс»? Наверное, все-таки да. Пока-

зательно, что после расставания с Горьким Андреева не приезжала к нему в Италию в те дни, когда там гостила Екатерина Павловна Пешкова. Каждая из них не хотела видеть соперницу.

На старости лет Андреева призналась: «А я была не права, что покинула Горького. Я поступила как женщина, а надо было поступить иначе: это все-таки был Горький...»

То есть всемирно известный писатель, поэтому следовало бы не ревновать, проглатывать обиды, быть ниже травы и тише воды и т. д. Но эту роль покорницы темпераментной Андреевой сыграть не удалось.

Последней любовью Горького стала «Мария фон Будберг, она же баронесса Бенкендорф, она же Закревская, она же Унгерн-Штернберг, 1892 года рождения, уроженка Полтавы, дочь крупного помещика» – именно так она представлена в оперативной справке НКВД.

Это была примечательная женщина, некрасивая, но талантливая, из породы авантюристок. У нее было много мужей, любовников и друзей-мужчин, которых она умела заводить и околдовывать каким-то своим особым шармом и сексуальной притягательностью. Женщина-манок. Она сумела прожить часть своей жизни с двумя литературными титанами – Максимом Горьким и Гербертом Уэллсом. В быту ее звали просто Мурой, но Нина Берберова окрестила ее «железной женщиной» и написала о ней целую книгу.

Не будем цитировать Берберову (кто захочет, тот прочитает «Железную женщину» сам), лучше приведем один любопытный документик – письмо Максима Горького властителю Петрограда Григорию Зиновьеву: «Позвольте еще раз напомнить Вам о Марии Бенкендорф – нельзя ли выпустить ее на поруки мне? К празднику Пасхи? А. П.»

На момент письма, в апреле 1920 года, Мария Бенкендорф-Будберг сидела в подвалах ЧК за связь с английским послом Локкартом и подозревалась в шпионаже против советской России, кстати, ее арестовали чуть ли не в постели посла. Зиновьев откликнулся на просьбу Горького, и Алексей Максимович получил Муру, выражаясь фигурально, в качестве пасхального подарка. Подарок пришелся очень к месту: Мура стала секретарем затеянного Горьким издательства «Всемирная литература» и одновременно личным литературным секретарем писателя. Впрочем, ее функции получились весьма расширительные: секретарь, консультант, переводчик, домоправительница и любовница. Гениальная женщина, не каждая на такое способна!

Был момент, когда она покинула Горького и уехала к Уэллсу, а Алексей Максимович бомбил ее письмами, в которых полыхали и страсть, и надрыв, и тоска. Любимая женщина вернулась и скрасила последние месяцы смертельно больного Горького. Есть версия, что именно она убила знаменитого любовника по заданию чекистов, на которых работала. Лично я в это не верю.

Когда Горький умер, в крематории присутствовали все три женщины Алексея Максимовича – одна официальная и две невенчанные жены. В книге Галины Серебряковой «О других и о себе» можно прочитать такой пассаж: «Из полутьмы, четко вырисовываясь, в траурном платье появилась Екатерина Павловна Пешкова – неизменный друг Горького. Тяжело опиралась она на руку невестки. За ней шла Мария Федоровна Андреева с сыном, кинорежиссером Желябужским. И поодаль, совсем одна, остановилась Мария Игнатьевна Будберг. Все эти три женщины чем-то неувовимо походили одна на другую: статные, красивые, гордые, одухотворенные...»

Что ж, отдадим дань вкусу Горького.

Все три главные женщины Горького пережили его намного. Мария Андреева умерла 8 декабря 1953 года в возрасте 85 лет. Настоящий «феномен», как назвал ее Ленин. Екатерина Пешкова скончалась в 1965 году, прожив на свете 87 лет, а в 1974 году ушла из жизни Мура, «железная женщина», в возрасте 82 лет.

Так что все – долгожительницы. «Сколько ей лет? – удивлялся Корней Чуковский Екатерине Павловне Пешковой. – А она бодра, возбужденна, эмоциональна, порывиста...»

Последней своей пассив – Будберг-Бенкендорф, любимой Муре, Горький посвятил самое крупное и значительное произведение из всего того, что написал: «Жизнь Клим Самгина».

Любопытную запись оставил Корней Иванович в своем дневнике от 30 апреля 1962 года:

«Екатерина Павловна Пешкова получила от Марии Игнатьевны Бенкендорф (Будберг) просьбу пригласить ее к себе из Англии. Екатерина Павловна исполнила ее желание. «Из всех увлечений Алексея Максимовича, – сказала она мне сегодня, – я меньше всего могла возражать против этого увлечения: Мария Игнатьевна – женщина интересная».

С чего начали – тем и закончили: вкус у Максима Горького был отменный.

Вот и все, пожалуй, о Буревестнике, который пытался приспособить мировую литературу к нуждам пролетариата. Писатель и царедворец. Гуманист и конформист. А еще он – человек для подражания, ибо сумел сам себя сделать. А это удастся далеко не каждому.

Многоликий нарком просвещения. Анатолий Луначарский (1875–1933)

*Меня пленяет сатаны
Всеискажающая скрипка:
В ней ритмы солнц отражены
В стихии челове́чье-зыбкой.
Пусть ангелов пугает вид
Их ликом дико искривленных,
Но вечных песен полусонных
Лишь чертов перепев манит.*

Анатолий Луначарский, Кривой, апрель 1921



Кто есть Луначарский

Очень ныне модно спрашивать: who is who? Давно покинул белый свет Анатолий Васильевич Луначарский, а точного ответа на вопрос так и нет. Даже его фамилия вводит в заблуждение: Луна-Чарский. Луны чары? Или чары луны? И сразу вспоминается Лев Мей: «Ясный месяц, ночной чародей». Или еще пушкинская «Полтава»:

Кто при звездах и при луне
Так поздно едет на коне?

Луначарский – фамилия из разряда псевдонимов? Псевдонимы были популярными в конце XIX века: Максим Горький, Саша Черный, Андрей Белый, Ленин, Сталин, Каменев, Зиновьев, Демьян Бедный, Михаил Голодный, Илья Ильф и т. д. Но нет. Луначарский не псевдоним, а настоящая фамилия.

Ладно, с фамилией разобрались. А теперь разберемся с профессиональным занятием. Когда Луначарского назначили наркомом просвещения молодой советской республики, старые интеллигенты взволновались. Академик Карпинский спрашивал у своих более молодых коллег: «Что вам известно о вновь назначенном министре просвещения?» Одни отвечали: «философ», другие: «музыкальный критик». Третьи: «Как же, это известный литературовед». Да, первый нарком просвещения был и философом, и критиком, и литературоведом, и драматургом, и публицистом, и переводчиком, и даже поэтом. А еще он был революционером. Не твердокаменным, а каким-то мягколиберальным, скорее даже не большевик-коммунист, а социал-демократ, ну, почти «яблочник». Ненавидел насилие. Возмущался действиями «большевистских военных бурбонов».

Это был прежде всего культурный человек. В книге «Современники» Корней Чуковский писал:

«Анатолий Васильевич, как натура художественная, мог вполне бескорыстно увлечься и сказкой, и песней, и драмой, и звонким стишком для детей. Каждый самый непритворливый живописный этюд, каждое стихотворение, каждую музыкальную пьесу, если они были талантливы, он встречал горячо и взволнованно, с чувством сердечной благодарности к автору. Я видел, как он слушал Блока, когда Александр Александрович читал свою поэму «Возмездие», как слушал Маяковского, как слушал какого-неведомого мне драматурга, написавшего историческую драму в стихах: так слушают поэтов лишь поэты. Я любил наблюдать его в такие минуты. Даже в повороте его головы, даже в том, как он вдруг молодеет, выпрямлял сутулую спину, нервно вжимал тонкие пальцы в борта пиджака и влюбленно смотрел на читающего, чувствовался артистический склад его личности.

Больше всякого другого искусства – больше живописи, больше музыки, больше поэзии – Луначарский любил театр. В театре он никогда не бывал равнодушен: то умилялся, то негодовал, то неистово радовался и, как бы ни был занят, любой, даже слабый спектакль досматривал всегда до конца».

А еще философ. Хотя философский энциклопедический словарь (1983) обошел его вниманием. А как же богостроительство Луначарского? «Религия без бога» как «религия надежды»? Его философские искания и утверждение «нового бога – коллектив»? «Религия – это энтузиазм»? Нападки на Фридриха Ницше как на исторического апологета «ходульного сверхчеловечества». И в то же время восхищение Ницше, который, согласно Луначарскому, в человеке «любил полет, порыв, любил его, как мост, ведущий в эдем будущего, как стрелу, направленную на другой берег, он любил в нем еще не законченного бога» («Этюды», 1922).

В 1903 году Луначарский примкнул к большевикам. Однако не раз расходился с Лениным. Луначарский относился к марксизму как к религии и считал, что «мы люди нового утра». То есть был идеалистом в отличие от жесткого и прагматичного Ленина.

Но главное – Луначарский был «одним из видных строителей социалистической культуры». Вместе с Троцким, Воронским, Бухариным, Полонским и Гронским Луначарский организовывал, создавал советскую литературу 20-х годов. Формировал ее и воздействовал на нее.

Однако вступление затянулось, и пора переходить к конкретике.

Семья. Ранние годы

Анатолий Васильевич Луначарский родился 11 (23) ноября 1875 года в Полтаве. Вне официального брака. Его настоящим отцом был Александр Иванович Антонов, управляющий контрольной палатой в Пскове. Однако фамилию носил отчима, мужа матери – Василия Федоровича Луначарского. Уже в этом любители фрейдизма могут половить рыбку...

В книге «Память сердца» Луначарской-Розенель можно прочитать о матери: «Мать Луначарского, Александра Яковлевна Ростовцева, женщина образованная, но властная и взбалмошная, в «мальчике в очках» видела что-то недопустимое, «нигилистическое». Когда Анатолий жаловался ей на плохое зрение, она только сердилась на него за «глупые выдумки». Лет до 13 из-за упрямства матери он лишен был возможности следить в классе за тем, что писали на доске, рассматривать географические карты и атласы, наблюдать за физическими опытами, даже участвовать в развлечениях и играх своих одноклассников. Но благодаря блестящим способностям и замечательной памяти учился он хорошо. Однако учеба в гимназии не увлекала его, и все свободное время он отдавал чтению».

Учился хорошо? Но в одном из классов юный Луначарский был оставлен на второй год, но в итоге закончил 1-ю гимназию в Киеве. В гимназии и в дальнейшем активно занимался самообразованием, читал книги на французском и немецких языках, а еще увлекался сочинительством. «Прочитал целую библиотеку книг, написал множество стихотворений, рассказов, трактатов...» – вспоминал Луначарский. На всю жизнь он остался книголюбом, но не стал книгоманом. Любил посещать общественные библиотеки, но свою личную не заводил.

С юности увлекла революция, заря новой жизни. «В 15 лет был знаком не только с нелегальными брошюрами по марксизму, но проштудировал первый том «Капитала», – признавался Луначарский. И в раннем возрасте он стал бойким пропагандистом. То, что узнавал из книг, он умел увлекательно рассказывать в рабочих кружках в пролетарском районе Киева – в Борщаговке. Подобная деятельность не осталась незамеченной, и за свою «революционность» Луначарский оказался вне российских университетов: двери для него были закрыты. Выход для получения дальнейшего образования был один: заграница. Отправился в Швейцарию, в Цюрих, и там в местном университете постигал основы эмпириокритицизма у основоположника этого течения Рихарда Авенариуса. Вторым учителем для Луначарского стал знаток марксизма Павел Аксельрод, а уже потом был перекинут мостик к Ленину.

В 1896 году Луначарский прервал свои занятия в Швейцарии, поехал по Италии и Франции и вернулся в Россию, в Москве вступил в революционный кружок Елизаровой-Ульяновой, старшей сестры Ленина. Вскоре, 13 апреля 1899 года, последовал арест. Первый, но не последний.

Примечательные детали одиночного заключения в киевской Лукьяновской тюрьме. Там Луначарский изучил английский язык, читал в подлиннике Шекспира и Бэкона, немецких философов и поэтов, много писал. Вспоминая Лукьяновскую тюрьму, Луначарский в одном из писем писал: «В последние недели моего пребывания в одиночке я читал и писал до утра. Почерк у меня возмутительный. Каждое слово, написанное в тюрьме, подвергалось самой тщательной цензуре, и жандармский ротмистр, которому полагалось проверять мои рукописи, совершенно замучился. «Ради всего святого, г-н Луначарский, пишите разборчивее! У меня теперь из-за вас нет личной жизни: я ночи напролет сижу над вашими каракулями». Меня эти жалобы не слишком растрогали. Хуже, что я сам позднее разобрал далеко не все свои рукописи из Лукьяновки».

Луначарский – один из многочисленных примеров пылких молодых людей, которые были обуяны мечтой осчастливить русский народ с помощью марксистских выкладок. Старая Россия – для них ничто; новая, будущая – всё! Не случайно одно позднее рассуждение Луначарского:

«Почти у всякой русской писательской могилы, у могилы Радищева, Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Некрасова, Достоевского, Толстого и многих других, – почти у всех можно провозгласить страшную революционную анафему против старой России, ибо всех она либо убила, либо искалечила, обузила, обрызгала, завела не на ту дорогу. Если же они остались великими, то вопреки этой проклятой старой России, и все, что у них есть пошлого, ложного, недоделанного, слабого, все это дала им она».

Вы чувствуете, как в этих фразах Луначарского клокочет революционность, бунтарство. Оно и приводило Луначарского не раз к заключению: сидел он в Киевской Лукьяновской тюрьме, в одиночной камере Таганской тюрьмы, сидел в знаменитых петербургских «Крестах», ссылался в Вологду. В Вологде Луначарский близко сошелся с Николаем Бердяевым (с ним был знаком со времени учебы в киевской гимназии), с Алексеем Ремизовым, Борисом Савинковым, с пушкинистом Павлом Щеголевым. И ссылка для Анатолия Васильевича стала дополнительным университетом. И это же было время интенсивной публицистики – Луначарский писал много в различных газетах, от Ярославля до Киева. Религиозных поисков смысла жизни (статьи «Русский Фауст», «Метаморфоза одного мыслителя», «Перед лицом рока» и другие). И еще одно направление: проповедь героизма, деятельности и силы.

Так уж сложилась судьба Луначарского, что он всю жизнь был погружен в культуру, религию и историю. Еще живя в Киеве, он принимал активное участие в Литературно-артистическом обществе, которое возглавляла Софья Луначарская, жена брата Николая. На квартире Софьи Николаевны в начале XX века собирался цвет интеллигенции Киева: братья Бердяевы, братья Луначарские, философ Лев Шестов (Шварцман), литературовед Николай Гудзий, поэты Михаил Кузмин, Бенедикт Лившиц, исполнитель популярных ариэток Александр Вертинский, художники Казимир Малевич, Марк Шагал, Натан Альтман, Александр Осмеркин. В салоне Луначарской – назовем его так, – происходили интересные, острые споры, дискуссии на литературные, философские и иные темы.

В Петербурге Луначарский посещал «башню» Вячеслава Иванова, где была ключом интеллектуальная жизнь города на Неве. В частности, 18 октября 1906 года там проходил интереснейший диспут об Эросе. Среди выступавших были Анатолий Луначарский и Николай Бердяев.

А параллельно с культурой Анатолий Васильевич был погружен в политику. Принимал участие в большевистской газете «Вперед», издававшейся в Женеве. Участвовал в III съезде РСДРП. Революция 1905 года застала Луначарского во Флоренции, где он подлечивал пошатнувшееся здоровье. В октябре вернулся в Россию и был вскоре арестован за пропаганду марксизма среди рабочих. И сразу вспоминаются слова Георгия Иванова из «Петербургских зим» о Луначарском: «Сладко и гладко беседует о марксизме» (но эти слова, правда, относятся уже к 1917 году).

В начале 1906 года Луначарский был освобожден из тюрьмы, но революционный его пыл не охладился, и охранка за ним охотится. Чтобы избежать нового тюремного заключения, он в начале 1907 года уезжает в Германию: Берлин, Штутгарт... Ему 31 год. Он – профессиональный революционер. Зарабатывает на жизнь журналистикой, пишет по западноевропейскому искусству, литературе и театру.

А теперь, пожалуй, уместно привести характеристику Луначарского, которую дал ему Александр Амфитеатров в очерке «Жизнь человека, неудобного для себя и для многих»:

«Генеральский сын, лауреат Московского университета, не ахти какой умный, но и далеко не глупый, усердный и доверчивый читатель-книжник («Что ему книжка последняя скажет, то ему в душу сверху и ляжет»), фразистый говорун, «с хорошо привешенным языком», способный пустить пыль в глаза подобием философствования в эстетико-декадентских тонах, Анатолий Васильевич был самою природою предназначен на то, чтобы в университете быть кумиром студенческих сходок. А по университету получать какую-либо гуманитарную приват-доцентуру и в качестве либерального лектора с неопределенно социальным душком сделаться любимцем студентов и студенток первых семестров.

Царское правительство совершило великую глупость тем, что пустопорожнюю ссылкою в Вологду и Тотьму отвлекло Луначарского от его природного назначения, свело его там с революционными действиями и дало, таким образом, ему возможность вообразить самого себя деятельным и ужасно опасным революционером. Полный сим самообольщением, очу-

тился он за границу, в эмиграции, еще не определившись партийно. Да тогда и партий-то было две с половиной, и различия между ними были еще так зыбки, что на вопрос о разнице между большевиками и меньшевиками часто следовал шуточный ответ:

– Меньшевики – это которых больше, и они с Плехановым, а большевики – которых меньше, и они с Лениным.

В этом подготовительном периоде Луначарский вспоминается мне, по случайной встрече в Виареджио, милым студентом-идеалистом, скромнейшего образа жизни, сытым более книжкой, чем обедом, и женатым на такой же милой студентке, Анне Александровне Малиновской, сестре известного марксиста Богданова. Никаким большевизмом от него не пахло. Он еще усердно «богостроительствовал», а в богоискательстве опять-таки колебался, – что ему: «богостроительствовать» ли с Мережковским или «богоборствовать» с Горьким и Андреевым? Богоборство, как известно, победило.

Прервем цитату Амфитеатрова (к ней мы еще вернемся) и поговорим о философских исканиях (и шатаниях) Анатолия Васильевича.

В тенетах богостроительства

В энциклопедическом словаре 1954 года сказано: «В годы столыпинской реакции примкнул к махистам, принадлежал к антибольшевистской группе «Вперед».

Группа «Вперед», возглавляемая Богдановым и к которой примыкал Луначарский, боролась с ленинской партийной школой в Лонжюмо за влияние на революционный процесс в России. Как отмечает О'Коннор Тимоти, профессор истории университета Северной Айовы (США), в своем очерке о Луначарском:

«Выдвинутая Луначарским идея богостроительства вносила дополнительный разброд в группу. Богостроительство обычно определяется как «религиозный атеизм», т. е. как попытка выразить марксизм посредством суррогата религии и дать альтернативу обещанному христианством вечному спасению праведников. Как модель большевистского утопизма богостроительство предлагало «войти в землю обетованную на земле», приняв социалистическое сознание. Это была не просто вульгарная попытка заменить утвержденную религию марксизмом. Это движение включало в себя целое мировоззрение и вместе с другими большевистскими утопическими идеями стремилось представить будущее коммунистическое общество, – то, чего не сумели сделать Маркс и Энгельс».

У истоков богостроительства стояли Луначарский и Максим Горький. Фундаментом стал двухтомный труд Луначарского «Религия и социализм». И снова обратимся к цитате американского профессора:

«Бог был искусственно создан человечеством, утверждал Луначарский, потому что люди были эмоционально неуверенны и чрезмерно озабочены своими собственными физическими возможностями. Он считал, что просвещение – это желанная цель самопознания, и в то же время, как и марксизм, это практическое средство для самореализации. Нельзя раскрыть бога, потому что его не существует, но бог должен появиться внутри каждой личности в процессе сознательного понимания безграничности человеческих сил. Согласно Луначарскому, «люди не созданы в образе бога, но бог создан в образе людей». Он полагал, что «необязательно искать бога», вместо этого «необходимо миру лишь дать бога» путем человеческого «триумфа в природе». По его представлениям, по-настоящему образованный человек – это не просто смертный, живущий короткий период времени, борясь за то, чтобы выжить, но это «борец-титан, напрягший все силы, чтобы изменить лицо земли», и в конечном итоге «богочеловек, создание, для которого, вероятно, и был создан мир и который будет управлять природой».

Эко, батенька, загнул! – как сказал бы Ленин. Луначарский упорно отстаивал идею коллективного бессмертия человечества, бессмертия коммунистического коллектива, но, увы, эти идеи не смогли заменить физическое воскрешение и вечную жизнь, которые предлагала христианская традиция.

Ленин подверг резкой критике приверженность Луначарского к богостроительству, и Анатолий Васильевич объявил об отказе от своих богостроительных идей. И тут нужно вернуться снова к Амфитеатрову.

«Противник мало-мальски сильный, стоящий на крепком фундаменте солидного знания, твердо и ясно убежденный, бил Луначарского быстро и легко. Плеханов чаще всего просто вышучивал «блаженного Анатолия»: таким прозвищем окрестил он своего ревностного оппонента за наивное политическое прекраснотворение и малоспособность к логической последовательности. Порою играл им, как кот с мышью, доводя до абсурда его опрометчиво рогаые силлогизмы, ловя его на грубых ошибках и фактах и демагогических отступлениях от исторической истины, дразня пристрастием к общим местам и к открытию давно открытых Америк.

Луначарский торопливо хватал верхушки знаний, не трудясь смотреть в корень, летел вперед, не оглядываясь на зады. Плеханов острил, что «блаженный муж Анатолий» в марксизме напоминает дьячка, который жарит наизусть и подряд, и вразбивку по Часослову, но способен срезаться на азах».

Убийственная, надо сказать, характеристика. Это Плеханов. А как складывались отношения с Лениным?

Луначарский и Ленин

Они познакомились... впрочем, об этом рассказывал сам Анатолий Васильевич. Это было ранней весной 1904 года в Париже неподалеку от бульвара Сен-Жермен, где жил Луначарский. Ранним утром раздался стук в дверь.

«Я увидел перед собою незнакомого человека в кепке с чемоданом, поставленным около ног.

Взглянув на мое вопросительное лицо, человек ответил:

– Я Ленин. А поезд ужасно рано пришел.

– Да, – сказал я сконфуженно. – Моя жена спит. Давайте ваш чемодан. Мы оставим его здесь, а сами пойдем куда-нибудь выпить кофе.

– Кофе действительно адски хочется выпить. Не догадался сделать этого на вокзале, – сказал Ленин».

Они встретились. Понравились друг другу и подружились. Позднее Луначарский писал: «Какая это была прекрасная комбинация, когда тяжеловесные удары исторического меча, несокрушимой ленинской мысли сочетались с изящными взмахами дамасской сабли воинского отступления».

Многолетняя дружба Ленина и Луначарского сопровождалась горячими спорами и дискуссиями, и почти всегда Ильич выходил из них победителем, резко критикуя те или иные философские и политические ошибки Луначарского. В пух и прах разбил Ленин идеи Луначарского о богостроительстве. И в дальнейшем взгляды их подчас расходились. Так, Ленин выступал за национальное самоопределение, а Луначарский был его противником. Луначарский после Октября выступал за правительство, в которое входили бы все партии, представленные в Петроградском совете, однако Ленин был против этого: только большевики!..

Удивительно, что Луначарского, который никогда не был твердым большевиком, назначили в состав первого советского правительства. Эта инициатива исходила от Ленина. Он

игнорировал имевшие место идеологические и политические разногласия и посчитал, что Луначарский – самая подходящая фигура на посту народного комиссара просвещения, так как «предпочитал энергичных и бодрых революционеров». В узком кругу Ленин не раз говорил о Луначарском как о «по-настоящему блестящем и веселом человеке», который получал удовольствие, развлекая людей «остроумной беседой и анекдотами». Многие считали Луначарского даже «закадычным другом Ленина». Однако Владимир Ильич признавал, что хотя «французский блеск» Луначарского был «полезен большевикам», но он «не был полностью одним из них». То есть Ленин прагматически подходил к Луначарскому и использовал лучшие его качества по привлечению старой интеллигенции на сторону новой власти.

Самые большие разногласия между Лениным и Луначарским после революции были по поводу интеллигенции. Ильич ценил только технических и научных специалистов и подозрительно, если не сказать презрительно, относился к творческой интеллигенции, что ярко проявилось в печально знаменитой истории с «философским пароходом». Луначарский, напротив, ценил прежде всего писателей, художников и артистов.

И последнее. Луначарский искренне горевал по поводу смерти Ленина. И поддержал идею Красина забальзамировать тело Ильича и выставить его на обозрение и прощание народу. Луначарский вошел в комиссию по созданию первого мавзолея и таким образом как бы реализовал свою давнюю идею о человеке-боге.

И совсем последнее. Обширная переписка между Лениным и Луначарским была издана в 1971 году.

Жизнь за границей

С февраля 1907 года Луначарский жил в Италии. Особенно ему полюбилась Флоренция с ее многочисленными музеями и памятниками. В воспоминаниях Бориса Зайцева можно прочесть о Луначарском:

«Он любил Флоренцию, в нем была жизненность и порыв к искусству, он и сам кое-что писал по нашей части (но по-любительски и легковесно).

Во Флоренции мы превесело вчетвером с ним заседали в разных ресторанчиках «Маренко» на Via Nazionale, распивали кианти, он горячился и ораторствовал – теперь о флорентийской живописи. Пенсне прыгало на его носу, он вдруг обнимал и целовал Анну Александровну (очень был пламенен по этой части), потом кричал о Боттичелли. Единственно, что меня доезжал тогда, – многословием. Глаза осоловели у слушателя от усталости, а обновить его нет возможности.

Мы ходили вместе по Флоренции и раз очень весело и смешно сидели на вечерней иллюминации над Арно – на парапете набережной, как-то верхом сидели, хохотали, дамы взвизгивали от фейерверка и забавлялись как хотели».

Возможно, это был один из счастливых моментов в жизни Луначарского. На Капри его ждал удар, куда он приехал в 1909 году: смерть первого сына. Раздавленный горем Анатолий Васильевич, забыв про свой атеизм, сам отпел мальчика, прочитав над его гробом «Литургию красоты» Константина Бальмонта. Какие именно стихи из этого цикла читал Луначарский? «Проклятие человекам»?

Мы человеки дней последних, как бледны в жизни мы своей!
Как будто в мире нет рубинов, и нет цветов, и нет лучей...

Или: «Мир есть пропасть, ты есть пропасть, в этом свойстве вы сошлись...» Трудно сказать, какие именно строки выделил несчастный отец:

А смерть возникнет в свой в черед, —
Кто выйдет здесь, тот там войдет,
У жизни множество дверей,
И жизнь стремится все быстрей...

На Капри сошлись Максим Горький, Ленин, Луначарский и Богданов. Между ними шли ожесточенные споры, в том числе и по проблемам богостроительства. Весной 1911 года Луначарский переехал из Италии во Францию и оставался там до 1915 года. Снял квартиру в Париже. Погрузился в изучение европейского искусства и литературы. Вращался среди художников, стал постоянным посетителем знаменитого кафе «La Ruche» («Пчелиный улей»). Писал обзоры об искусстве, литературе и театре Западной Европы для различных русских газет. Разъезжал с лекциями по европейским городам и налаживал контакты с русской эмиграцией. В 1912 году выпустил сборник пьес «Идеи в масках», в котором отстаивал свою давнюю театральную идею о «театре быстрого действия, больших страстей, резких контрастов, цельных характеров, могучих страданий, высоких экстазов». Среди пьес Луначарского особенно выделялась «драма для чтения» — «Фауст и город». Ее стержнем была концепция «преодоления индивидуализма» и растворение личности в массе. Еще Луначарский пробовал свои литературные силы в жанрах памфлета и фарса.

С конца 1915 года по апрель 1917-го Луначарский с семьей жил в Швейцарии, близ города Веве. Близко сошелся с Роменом Ролланом и швейцарским поэтом Шпиттелером, стихи которого он переводил. В Первую мировую войну Луначарский придерживался оборонческих взглядов, потом изменил их и стал критиковать сторонников оборончества, особенно Плеханова. Но все померкло, когда неожиданно для всех пал царский режим и наступил февраль 1917 года.

«И невозможное возможно в стране возможностей больших!» — как изрек Игорь Северянин.

Возвращение в Россию

Известие о Февральской революции «поразило его как громом», и Луначарский немедленно вступил в переписку и переговоры с Лениным. Считал большой «ошибкой» решение Ленина «ехать при согласии одной Германии безо всякой санкции из России». Ильич отправился с близкими соратниками в пресловутом plombированном вагоне, а вслед за ним, оставив жену с сыном в Швейцарии, вторым поездом с группой политэмигрантов из Цюриха выехал Луначарский через Германию и скандинавские страны в Россию.

9 мая 1917 года Луначарский прибыл в Петроград. Он не был в России с января 1907 года и жутко соскучился по реальным делам. Поддержал требование большевиков «упразднить» Государственную Думу как организацию «наибольших реакционных элементов ценовой России» и Государственный Совет как «обломок черной реакции» и передать всю власть в руки трудовых классов народа. «Наш долг, — пламенно говорил Луначарский, — взять власть в свои руки, как бы безнадежно положение ни было. Пусть мы захлебнемся, пусть мы погибнем, мы будем апеллировать к истории и выполним свой долг».

1917 год — пассионарный год, все российские политики горели неугасимым огнем и стремились создать и совершить нечто новое и невиданное. В эти наполненные событиями дни и месяцы Луначарский тем не менее находил время и писал в Швейцарию жене подробнейшие письма о том, что делал, говорил и чувствовал (таких писем насчитывается более 90, и не все они опубликованы).

Письмо от 5 июля: «...Мне пришлось солидаризироваться с большевиками, я произнес самую тактичную речь в их защиту... Но... они далеко не считают с моими советами...

Теперь мужество заключается в том, чтобы просвещать массы и сдерживать их от чрезмерного напора, сравнительно легкого в Петрограде, но губительного в целом... Большевики и Троцкий на словах соглашаются, но на деле уступают стихии. А за ними уступаю и я...»

В ночь на 23 июля Луначарского арестовали по обвинению Временного правительства в государственной измене и заключили в тюрьму «Кресты». В начале августа освободили, а 20-го числа Луначарского избрали гласным петроградской городской Думы, и он стал к тому же руководителем большевистской фракции. Не скрывая своего удовлетворения, Луначарский писал жене 23 августа: «...я действительно популярный вождь пролетарских масс. Быть может, ни одно имя, кроме Троцкого и Ленина, не пользуется такой популярностью и любовью...»

Из письма от 13 сентября:

«Работаю я вовсю. Последнюю неделю я выступал 4 раза на громадных собраниях с лекциями. Теперь моя нормальная аудитория – 4000 чел. Всякая зала, в которой я читаю, полна... Но главная работа – культурно-просветительская городская. Сегодня целый день объезжаю училища... Большую работу делаю я и по созыву конференции пролетарских просветительских обществ...»

25 сентября: «...Моя роль первой скрипки в культурно-просветительском деле получила широкое признание и среди большевиков, и в Советах вообще, и в Думе, и в пролетариате, и даже среди специалистов...»

Чувствуется, Анатолий Васильевич упоен своими успехами, еще бы: он избран заместителем петроградского Городского головы. Далее последовали и другие высокие посты и назначения. Казалось бы, работай и работай, просвещай серую массу рабочих и крестьян, ан нет: большевики задумали вооруженный переворот. И в Швейцарию, в Цюрих, летят обеспокоенные, тревожные письма:

«Положение России ужасно, и сердце болит все время за нее. С нею пропадем мы все» (2 октября).

«Озлобление против нас колоссально растет на правом полюсе... Растет страшное недовольство и в рабочей, солдатской, крестьянской среде, оно здесь пугает меня, и теперь много анархического, пугачевщинского. Эта серая масса, сейчас багрово-красная, может наделать больших жестокостей, а с другой стороны, вряд ли мы при зашедшей так далеко разрухе сможем, даже если власть перейдет в руки крайне левой, наладить сколько-нибудь жизнь страны. И тогда, вероятно, мы будем смыты той же волной отчаяния, которая вознесет нашу партию к власти...»

18 октября (за неделю до вооруженного восстания): «Мы образовали нечто вроде блока правых большевиков: Каменев, Зиновьев, я, Рязанов и другие. Во главе левых стоят Ленин и Троцкий. У них – ЦК, а у нас все руководители отдельных работ: муниципальной, профсоюзной, фабрично-заводских комитетов, военной, советской...»

Приближался час пик. Луначарский с неохотой перешел на сторону Ленина, но еще лелеял надежду на созыв Учредительного собрания «при толковой оппозиции большевиков». Надежды Луначарского были разбиты вдребезги.

25 октября (7 ноября по новому стилю) большевики захватили власть. И Луначарский огласил написанное Лениным воззвание «Рабочим, солдатам и крестьянам», которое извещало о победе революции и переходе власти к Советам.

28 октября Луначарский спешит сообщить жене о том, как все произошло: «Для меня он (переворот. – Ю. Б.) был неожиданным... переворот был сюрпризом и со стороны легкости, с которым он был произведен. Даже враги говорят: «Лихо». Войска дисциплины не нарушают. Хотя в Зимнем дворце был все же погром и эксцессы (убийств не было), за которые страшно и тяжело нести ответственность... Как-никак, а жертв чрезвычайно мало пока. Пока. С ужасом думаю, не будет ли их больше».

И еще одна тревога: «Да, взять власть оказалось легко, но нести ее!» И обращение чисто личное: «Нюра, Нюра, я уже не прошу судьбу – увидеть вас, но хоть письма-то мои дошли бы до вас! Милые, дорогие, далекие!...»

29 октября – письмо на следующий день:

«Дорогая Нюрочка. Конечно, чем дальше, тем хуже. Положение тяжелое... Я пойду с товарищами по правительству до конца. Но лучше сдача, чем террор. В террористическом правительстве я не стану участвовать. Я отойду и буду ждать, что пошлет судьба... Лучше самая большая беда, чем великая вина...»

В следующем письме к Анне Малиновской: «Эксцессов пока никаких, им нет никаких шор. Но их я боюсь больше всего. Больше смерти! Погибнуть за нашу программу – достойно. Но прослыть виновником безобразий и насилий – ужасно... Целую вас, мои святые...»

Вулканическая деятельность

«Я – министр народного просвещения, или, как у нас установлено: народный комиссар», – из письма к жене.

А буквально через несколько дней 2 ноября Луначарский подал заявление о выходе из правительства, ввиду того, что не может работать под гнетом таких фактов, как разрушение Кремля, уничтожения соборов Успенского, Василия Блаженного и других исторических памятников. Потом выяснилось, что собор Сант-Базилио оказался невредим, и Луначарский после разговора с Лениным остался на своем посту. И предпринял громадные усилия по сохранению художественных культурно-исторических сокровищ и памятников. Многие удалось защитить и спасти. Но многое было и разрушено...

Еще одна задача стояла перед Луначарским: привлечь на сторону советской власти старую интеллигенцию. «Но какая ненависть против нас, боже, какая бездонная ненависть во всей обывательщине – у всех социалистов-соглашателей!» – жаловался нарком в одном из писем к жене. Большевиков ненавидели не только эсеры, кадеты и прочие политики, их не приняли многие деятели культуры и литературы, достаточно полистать «Черные тетради» Зинаиды Гиппиус.

28 ноября 1917 года: «Тьма, морозный туман, красная озорь гикает...»

7 января 1918: «Шингарев был убит не наповал, два часа еще мучился, изуродованный. Кокошкину стреляли в рот, у него выбиты зубы. Обоих застигли спящими в постелях...»

Полилась та кровь, которой так боялся Луначарский.

А теперь маленькая справка. Федор Кокошкин, профессор Московского университета, специалист права, входил в состав Временного правительства. На момент зверского убийства в Мариинской тюремной больнице Кокошкину было 46 лет. Андрей Шингарев, старше Кокошкина на 2 года, по профессии врач. После февраля 1917 года возглавлял Продовольственную комиссию. По мнению современников, был превосходным деловым министром – со знанием, с огромной энергией, с твердостью и авторитетом.

Но вернемся к дневнику Зинаиды Николаевны Гиппиус. 25 января 1918: «Пока нет начала света – предрекаю: напрасны кривлянья Луначарского, тщетны пошлые безумства Ленина, ни к чему все предательства Троцкого-Бронштейна, да и бесцельны все «социалистические» их декреты, хотя бы 10 лет они издавались 10 лет сидящими большевиками. Впрочем, 10 лет декреты издаваться наверно не будут, ибо гораздо раньше уничтожат физически все окружающее и всех людей. Это они могут».

И дальнейшая приписка: «Грабят сплошь. И убивают».

Запись от 14 апреля 1918 года: «В среду на Страстной – 1 мая по новому стилю. Владыки объявили «праздник своему народу». Луначарский, этот изолгавшийся парикмахер,

клянется, что устроит «из праздников праздник», красоту из красот. Будут возить по городу колесницы с кукишами (старый мир) и драконов (новый мир, советская коммуна). Потом кукиши сожгут, а драконов будут венчать. Футуристы воспламенились, жадно мажут плакаты. Луначарский обещает еще «свержение болванов» – старых памятников. Уже целятся на скульптуру барона Клодта на Мариинской площади (памятник Николаю I)».

14 октября 1918: «В Гороховой «чрезвычайке» орудуют женщины (Стасова, Яковлева), а потому царствует особенная – упрямая и тупая, – жестокость. Даже Луначарский с ней борется, и тщетно: только плачет (буквально, слезами)».

22 октября Гиппиус, комментируя слух об убийстве Василия Розанова, «русского Ницше», восклицала: «Я не хочу верить, но ведь все возможно в нашем «культурном раю», г-да Горькие и Луначарские!..»

В одной из записей «Черной тетради» Зинаида Николаевна припечатала Марию Андрееву: «Эта истерическая особа, жена Горького, которая работает с Луначарским: «Ах, я с удовольствием... И вечер устрою...»

Если записи у Зинаиды Гиппиус полны сарказма, то в дневнике Корнея Чуковского касательно Луначарского присутствуют мягкий юмор и ирония. Вот некоторые записи:

14 февраля 1918 года: «У Луначарского. Я выдаюсь с ним чуть не ежедневно. Меня спрашивают, отчего я не выпрошу у него того-то или того-то. Я отвечаю: жалко эксплуатировать такого благодушного ребенка. Он лоснится от самодовольства. Услужить кому-нибудь, сделать одолжение – для него ничего приятнее! Он мерещится себе как некое всесильное благостное существо – источающее на всех благодать: – Пожалуйста, не угодно ли, будьте любезны, – и пишет рекомендательные письма ко всем, к кому угодно – и на каждом лихо подмахивает: Луначарский. Страшно любит свою подпись, так и тянется к бумаге, как бы подписать. Живет он в доме Армии и Флота – в паршивенькой квартирке – наискосок от дома Мурузи, по гнусной лестнице. На двери бумага: «Здесь приема нет. Прием тогда-то от такого-то часа в Зимнем Дворце, тогда-то в Министерстве просвещения и т. д.» Но публика на бумажку никакого внимания, – так и прет к нему в двери, – и артисты Императорских театров, и бывшие эмигранты, и прожектеры, и срыватели легкой деньги, и милые поэты из народа, и чиновники, и солдаты – все – к ужасу его сварливой служанки, которая громко бушует при каждом новом звонке. «Ведь написано». И тут же бегают его сынок Тотоша, избалованный хорошенький крикун, который – ни слова по-русски, все по-французски, и министериабельно – простая мадам Луначарская – все это хаотично, добродушно, наивно, как в водевиле.

При мне пришел фотограф – и принес Луначарскому образцы своих изделий – «Гениально!» – залепетал Л. и позвал жену полюбоваться. Фотограф пригласил его к себе в студию. «Непременно приду, с восторгом». Фотограф шепнул мадам: «А мы ему сделаем сюрприз. Вы заезжайте ко мне пораньше, и, когда он приедет, – я поднесу ему Ваш портрет... приезжайте с ребеночком, – уй, какое цацеле...»

В министерстве просвещения Луначарский запаздывает на приемы, заговорится с кем-нибудь одним, а остальные жди по часам. Портрет царя у него в кабинете – из либерализма – не завешен. Вызывает посетителей по двое. Сажает их по обеим сторонам. И покуда говорит с одним, другому предоставляется восхищаться государственной мудростью Анатолия Васильевича... Кокетство наивное и безобидное...

15 октября 1918. «...Явился Луначарский, и сейчас же к нему депутация профессоров – очень мямлящая. Луначарский с ними мягок и нежен. Они доямлились до того, что их освободили от уплотнения, от всего...»

И далее запись того же дня: «...Луначарский источал из себя какие-то лучи благодушия. Я чувствовал себя в атмосфере Пиквика. Он вообще мне в последнее время нравится больше – его невероятная работоспособность, всегдашнее благодушие, сверхъестественная

доброта, беспомощная, ангельски-кроткая – делают всякую насмешку над ним цинической и вульгарной. Над ним так же стыдно смеяться, как над больным или ребенком. Недавно только я почувствовал, какое у него больное сердце. Аминь. Больше смеяться над ним не буду».

9 июля 1919. «Был сегодня у Мережковского. Он повел меня в темную комнату, посадил на диванчик и сказал:

– Надо послать Луначарскому телеграмму о том, что «Мережковский умирает с голоду. Требуется, чтобы у него купили его сочинения. Деньги нужны до зарезу».

На склоне лет Корней Иванович вспоминал о давно умершем наркоме: «О Луначарском я всегда думал как о легкомысленном и талантливом пошляке и если решил написать о нем, то лишь потому, что он по контрасту с теперешним министром культуры – был образованный человек» (12 апреля 1965).

В образованности и даже в энциклопедичности знаний Луначарскому не откажешь. Он многое знал и многое успел сделать. Он пересмотрел практически все наследство русской литературы. Творчество Пушкина и Лермонтова, Некрасова и Островского, Толстого и Достоевского, Чехова и Горького, Леонида Андреева и Брюсова нашло себе оценку в его статьях и в книге «Литературные силуэты» (1923).

Луначарский осаживал футуристов в их стремлении сбросить классиков с «корабля современности». В 1918 носился с идеей учредить Академию Искусств, параллельно создать Вольную Философскую академию (сокращенно: Вольфил), Вольную «скифскую академию» с привлечением лучших интеллектуальных сил России. Проектов было много, но не все удалось воплотить. Был создан и активно функционировал, пожалуй, лишь ТЕО – театральное управление. Но настоящих помощников у наркома было мало, очень многие не хотели сотрудничать с советской властью и всяческими путями пытались эмигрировать из России. Оставались единицы, Валерий Брюсов, к примеру. Еще Александр Бенуа, о котором Зинаида Гиппиус отзывалась так: «С момента революции стал писать подозрительные статьи, пятнающие его, водится с Луначарским, при царе выпросил себе орден...»

Водится с Луначарским – это что-то неприличное для старой интеллигенции. И о горьковской жене та же Гиппиус, о «дублюре»: «Знаменитая Мария Федоровна Андреева, которая «ах, искусство!» и потому всячески дружит и работает с Луначарским» («Черная тетрадь» 4 декабря 1917).

Но Луначарский, преодолевая критику, саботаж, недоверие, все же пытался возродить культурную жизнь в стране. В Москве, на Поварской, в «доме Ростовых» стал функционировать Дворец Искусств, задача которого была сформулирована так: «Развитие и процветание научного и художественного творчества, объединение деятелей искусства на почве взаимных интересов для улучшения условий труда и быта». Луначарский не только курировал Дворец Искусств, но часто выступал в нем с лекциями и чтением своих произведений. В Белом зале Дворца проводились доклады-митинги, вечера-митинги, диспуты. Кипела жизнь и в петроградском Доме литераторов (Бассейная, 11).

Об этом интеллектуальном кипении и бурлении скептически писал Александр Амфи-театров:

«Славны бубны за горами, но кто наблюдал их добросовестно и вблизи, того они провести не могут. Грубо лицемерный характер их был подмечен даже таким двусмысленным путешественником и присяжным хвалителем большевиков, как Г. Уэллс. Внутри же страны все эти – «Дом ученых», «Дом искусств», «Всемирная литература» – содействуют, в сущности своем, одной цели: срывать забастовку интеллигенции и литературный саботаж. Нашу-пывать в литературной среде слабость, хилость, неустойчивость, которые, при необычном режиме обстоятельств, не выдержали характера и пойдут на компромиссы с торжествующей политической истерией».

И горький вздох Амфитеатрова: «Коммунистическая революция душила нас мертвою хваткою, но ее конституция не могла отказать нам в некотором подобии автономной хозяйственной организации».

И еще одна важная деталь: «Комиссариат народного просвещения в лице Луначарского и его петроградского заместителя Гринберга был бесконечно сконфужен дикостью коммунистического гонения на литературу и, если не помогал ей, то, по крайней мере, и не распинал ее, умывая руки, как Пилат...»

Надо сказать о судьбе Захария Гринберга. После отставки Луначарского он работал в Институте мировой литературы. Был репрессирован в начале антисемитской кампании «борьбы с космополитами» и погиб в 1949 году в возрасте 60 лет.

Большая заслуга Луначарского состояла в открытии Пушкинского дома (20 апреля 1918), который вскоре превратился в Институт новой русской литературы, и три года директорствовал в нем Луначарский. Институт сделал много полезных дел и в пропаганде пушкинского наследия, и в изучении древнерусской литературы, в частности «Слова о полку Игореве».

А спасение музея Бахрушина в 1918 году, когда здание подверглось обстрелу и разорению, и тогда Луначарский распорядился дать музею охрану из взвода латышей, этих «советских швейцарцев», и тем самым сохранили бесценные реликвии, собранные Бахрушиным, правда, не все, но какую-то все же часть.

Благие дела Анатолия Васильевича можно перечислять и перечислять, но все равно в глазах многих российских интеллектуалов он виделся лишь в образе большевистского злодея. Михаил Кузмин записывал в дневнике: «Ведь это все призраки – и Луначарский и красноармейцы, этому нет места в природе, и все это чувствуют. Какой ужасный сон». (12 ноября 1918).

А тем временем Луначарский являлся не губителем русской культуры, как многим казалось, а ее спасителем. Горячий поклонник театра Денис Лешков в своих записях отмечал, что к 1919 году «от русского балета остались одни ошметки, осколки расколотой некогда роскошной вазы, которые «героически боролись в холодном нетопленном театре за флотские пайки держать зная не понятного никому искусства, а оно увядало, как неполющенный цветок». Как ни старался Луначарский усматривать в нем возможности грандиозных ритмически согласованных праздничных революционных шествий – из этого вышел такой «Красный вихрь», от которого так тошнило и артистов и зрителей, что балет потерял и последнее свое основание – форму. Совершенно то же явление наблюдалось и в опере и даже в драме...»

А что было с печатью? На второй день октябрьского переворота 27 октября 17-го был издан декрет о печати за подписью Ленина, готовил Луначарский – декрет осуждал вред, наносимый «контрреволюционной печатью» и вводил «временные и экстренные меры для пресечения потока грязи и клеветы». Временные оказались постоянными. После декрета Луначарский не раз печалился и тревожился по поводу нападок и запрещения не только буржуазных, но и социалистических газет, «некоторых закрытий и арестов». Как бы то ни было, но после декрета свобода печати была схвачена за горло.

Необходимо хотя бы немного сказать о реформе в области образования. Обратимся к воспоминаниям современника (М. Стоюнина. Исторический альманах «Минувшее». 7 – 1992):

«После большевистской революции Советское правительство приняло меры, разрушающие и семью и среднюю школу. Деятельность комиссара народного образования Луначарского открылась воззванием к учащимся, напечатанным в газетах. Сущность его заключалась в словах: не слушайте ваших родителей, не слушайте педагогов, ваших наставников. Влияние семьи вредно отражается на школе, его нужно парализовать, детей

отдалить от родителей, а также и от влияния педагогов, не способных воспринять новые идеи...»

Делалось все, чтобы разложить старую школу и усиленно насадить в нее коммунизм.

Леонид Андреев в письме к Павлу Милюкову 26 июля 1919 года: «...действительно, все разрушено, и мне страшно подумать, что, например, представляет собою теперешняя молодежь из школ Луначарского: какая пустота, какая мерзость душевная, какой тлен! И прежде Россия была бедна интеллигенцией, а теперь нас ждет такая духовная нищета, сравнительно с бедствиями которой экономическая разруха и голод являются только наименьшим злом. Внешне нам могут помочь иностранцы, а кто спасет нас изнутри? Только энергетическая работа всех оставшихся и хранящих традиции русской культуры может спасти народ и страну от окончательной гибели».

Луначарский бился за новую школу, «объединенную рабочую школу», как ее называли, которая обеспечивала обязательное, общее для мальчиков и девочек, свободное и светское обучение. Более того, он требовал, чтобы новая школа давала политехническое образование. И еще Луначарский боролся за введение широкой учебной программы, в которой были даны основы знаний в культурной и научной сферах. Луначарский полагал, что сначала нужно впитать в себя культурное наследие прошлого, а уж потом непременно должна появиться пролетарская культура.

В 1925 году Луначарский заявил: «Мы можем сказать, что достижение права на просвещение было главной, центральной целью революции. Революция была борьбой масс за право на просвещение». Это было продекларировано на Всесоюзном празднике науки.

Но так считал романтик от просвещения Анатолий Васильевич Луначарский. А у подлинных вождей революции были иные задачи и цели: сначала мировая революция, потом победа в Гражданской войне, индустриализация и коллективизация, и уже при Сталине – создание советской империи. Империи зла, как скажут позднее на Западе.

Позитивы и негативы

Необходимо вспомнить и такой эпизод из жизни и деятельности Луначарского, как тайный переезд советского правительства из Петрограда в Москву. На совещании большевистских лидеров, где решался этот вопрос, Луначарский был единственным, кто не захотел покинуть столицу на Неве и заявил, что он нужен именно в Петрограде. Он и остался примерно на год в Питере (вместе с Зиновьевым), а Наркомпросом в Москве руководил его заместитель, историк Михаил Покровский.

К Луначарскому шли толпами. Просили. Умоляли. Требовали. Кому что надо: искали защиты, покровительства, содействия, работы. Хотели получить от наркома продовольственного пайка, дров, бумаги, разрешения на издания книги, постановки пьесы, визы на выезд из страны... И он, как правило, содействовал, помогал, разрешал, или, как мы говорим сегодня, разруливал ситуацию.

Среди тех, кому помог выехать из России, был Вячеслав Иванов. Его Луначарский отпустил под обещание, что за границей он не будет печататься в антисоветских изданиях. Помог уехать Ивану Шмелеву. Писатель признавался в письме к Вересаеву: «Москва для меня – пустое место. Москва для меня – воспоминания счастья прошлого... Зачем я России? Я иждивенец, приживальщик, паечник... т. е. дармоед. А вне России? Я, может, буду там на черной работе где, но я буду другой. Я найду силы стать писателем...»

Вот, к примеру, подлинное удостоверение:

«Настоящим удостоверяю, что Народный Комиссар по Просвещению находит вполне целесообразным дать разрешение писателю Алексею Ремизову временно выехать из России

для поправки здоровья и приведения в порядок своих литературных дел, т. к. сочинения издаются сейчас за границей вне поля его непосредственного участия.

Нарком по просвещению А. Луначарский».

7 августа 1921 Ремизов с женой покинул Россию... А до этого Ремизов подвергся аресту ЧК и был освобожден лишь благодаря заступничеству все того же Луначарского. «А когда я «по недоразумению» попал на Гороховскую (дело о восстании левых с.-р., сами посудите, какой же я «повстанец»), первые слова, какими встретил меня следователь: «Что это у вас с Луначарским, с утра звонит?» И я робко ответил: «Старый товарищ», – так писал Ремизов в книге «Иверень».

В 1919 году был подвергнут аресту знаменитый театральный критик, публицист, журналист Александр Кугель («Гейне из Мозыря», – как его кто-то назвал). Близкие Кугеля бросились к Марии Андреевой его спасать, а она: «В первый раз слышу эту фамилию. Кугель... А чем он так знаменит?» Поэтесса и журналистка Августа Даманская вспоминает: «К счастью, вечером того же дня вернулся из Петербурга куда-то уезжавший Луначарский и, узнав об аресте Кугеля, поехал в тюрьму, извлек его оттуда и в своем автомобиле доставил домой».

Таких историй благополучного вызволения из лап ЧК было немало. Хотя были и другие примеры.

Возьмем воспоминания Мины Свирской (легендарная женщина, которую первый раз арестовали в марте 1921 года, в общей сложности она провела, с перерывами, в тюрьме, лагере, ссылке около 25 лет). Она рассказывала о том, как в день похорон Петра Кропоткина вечером в Плехановском институте состоялся доклад Луначарского о международном и внутреннем положении страны. Свирская пишет:

«Переполненная аудитория, прежде чем предоставить слово Луначарскому, потребовала от него гарантии свободы слова и личности выступающих. Луначарский заверил аудиторию своим «честным словом» и заявил, что ни один из выступающих не будет арестован...»

И что же? По выходе из зала несколько выступающих резко и оппозиционно были арестованы агентами ЧК. Свирская бросилась к Луначарскому, он ответил: «Будьте спокойны, вы не успеете доехать до дома, как они будут освобождены». Но шли не часы, а дни, и друзья мои оставались в Бутырках. Снова я добилась встречи с Луначарским. Узнав от меня, о чем идет речь, он весь съежился, как от удара, и пробормотал:

– Ну, что я могу поделать».

Эта история быстро облетела многих, и кто-то сказал Свирской: «Нашли кому поверить! Луначарскому! Эх, поверили Луначарскому!»

Что сказать сегодня по данному эпизоду? Луначарский был силен, но не всемогущ. Иногда ведомство Дзержинского к его мнению прислушивалось, а иногда просто игнорировало, подумаешь, наркомпросвещатель!..

Другое дело: культура. Тут Луначарский многое мог делать и делал. Именно он организовал приезд в молодую советскую республику Айседоры Дункан: еще бы, танцевала на сцене с красным флагом в руке. Ей отвели особняк на Пречистенке, где Дункан открыла школу пластики для пролетарских детей. Еще Луначарский способствовал открытию летом 1919 года в Москве института «Ритмического воспитания». Он просуществовал до апреля 1924 года. Возникла и Ассоциация педагогов-ритмистов, почетным председателем был избран Луначарский. 1 февраля 1920 года состоялся вечер, посвященный первому выпуску института, и, конечно, на нем присутствовал Луначарский.

Но все же главным для Луначарского, как наркома и литератора, оставалась литература. Он руководил литературным процессом и сам в нем активно участвовал как автор. Луначарский был застрельщиком классового пролетарского культурного строительства, но

при этом был противником тотального контроля над литературой. Он говорил: «Государство может пресекать вообще контрреволюционное, но заявлять: ему не нравятся такие-то краски, такое-то сочетание слов, такое-то направление в искусстве – культурное государство не смеет».

Однако декларированные слова – одно, а практика – совсем иное. С классовой позицией Луначарского многие писатели и деятели культуры были категорически не согласны. 2 ноября 1918 года Михаил Чехов написал Луначарскому письмо-кредо, в котором утверждал, что искусство – не агитка, а «тайна недоговоренности». Владимир Короленко в письме к наркому просвещения отмечал, что «русская литература, и притом вся она, без различия партий, оттенков и направлений – не с вами, а против вас».

То есть сопротивление было большое, и Луначарский пытался его преодолевать, подчас искусно лавируя между требованиями партии и творческим духом старой интеллигенции. Он много выступал, писал предисловия к различным книгам, не случайно пародист Александр Архангельский сочинил на него эпиграмму:

О нем не повторю чужих острот.
Пусть моя звучит свежо и ново:
Родился предисловием вперед
И произнес вступительное слово.

Луначарский был легок на подъем. В Гражданскую войну мотался по фронтам и выступал как комиссар-пропагандист. В послевоенное время старался быть почти на всех главных мероприятиях: на открытии памятника, на премьере в театре, на каком-нибудь юбилейном заседании... в консерватории... на кинофабрике... Он любил посещать мастерские художников, репетиционные театральные залы... У него не было границы между буднями и праздниками, он работал без выходных. И выступал, выступал...

Публичные выступления были коньком Луначарского. Без всяких затруднений, легко и со знанием дела, он мог прочесть лекцию о Бетховене или Вагнере, обсудить последние достижения в медицине или выдвинуть свою неожиданную теорию в области океанографии. Современники считали, что говорить речи – вообще единственное, на что способен нарком просвещения.

Из воспоминаний партработника Михаила Францева: «В 1919 году пришлось мне один-единственный раз быть у Луначарского на приеме в Наркомпросе. Беседа продолжалась полчаса... Лет через 6–7 встретился я с ним на какой-то конференции. Подхожу: «Здравствуйте, Анатолий Васильевич! Вы, конечно, меня не помните. Я...» Но тут он меня прерывает, кладет руку на плечо. «Постойте, постойте, не говорите, я вспомню». Анатолий Васильевич смотрит мне в глаза и медленно говорит: «Ваша фамилия Францев. Зовут вас... Михаил Михайлович... Стойте, стойте. Вы заведовали Курским губоно. Вы были у меня с докладом в 1919 году».

Я стоял перед ним, раскрыв рот от удивления. Боже мой, какая же память у человека. Фотографическая! А Луначарский, очень довольный, посмеиваясь, стал напоминать, о чем мы говорили, что я просил в Наркомпросе и как потом был решен вопрос на коллегии. Я уже ничего не помнил. А он помнил, хотя в тот день у него наверняка были десятки встреч, разговоров, выступления и другие дела».

Рассказывает работник «Вечерней Москвы» Федор Левин. 2 мая 1932 года умер известный критик Петр Коган. Фирсов звонит Луначарскому: «Да, внезапно... Нам нужен некролог. Если мы получим его через час, то успеем дать в сегодняшнем номере газеты. Может быть, вы напишете. Мы придем к вам за ним. Что? Что? Хорошо, Анатолий Васильевич! Сейчас!» А далее Луначарский с ходу в телефонную трубку наговорил текст. Работники

«Вечерки» ахнули: «Какой человек! Ему надо уже было уезжать, он задержал машину. А память, какая память!» Действительно, Луначарский вспомнил все: дату и место рождения Когана, его образование, перечислил все основные труды и заключил все собственной характеристикой.

В том же 1932 году Луначарский сменил на посту главного редактора Владимира Фриче и с 6-го номера повел Литературную энциклопедию. Он и в редакции поражал всех своими знаниями и памятью. Никто не мог вспомнить, к примеру, какого-нибудь французского поэта XVII века, а он его знал, читал, помнил. Помощь Луначарского всегда была бесценна.

У Эдварда Радзинского есть рассказ. Руководитель культуры РСФСР некто Козлов попадает в мастерскую скульптора, который изобразил скорбящую мать в беззвучном вопле.

«— Добре, добре... — сказал Козлов, обошел мемориал. — Все добре... Но чего эта она у вас так орет?

— Она зовет Луначарского! — ответил скульптор.

— Не понял? — сказал Козлов. Он действительно не понял...»

Давно нет Анатолия Васильевича, и никто не способен ничего объяснить в культуре и искусстве. «На редкость богато одаренная натура...» — выразился о Луначарском однажды Ленин.

Кстати, вспомним и ответный реверанс. Луначарский однажды как-то признался своей второй жене Розенель: «Извини, Наташа, но главный человек в моей жизни — Ильич...» Но тут же спохватился и добавил: «Но тебя я тоже люблю».

Это отношение к Ленину. А как складывались у Луначарского отношения с другими известными людьми? К примеру, с Горьким? Тоже сложно и неоднозначно. Вместе занимались богостроительством. После революции верховодили в советской литературе. Из воспоминаний Ивана Гронского, главного редактора «Известий», «Нового мира», «Красной нови», председателя Оргкомитета Союза советских писателей:

«Алексей Максимович относился к Луначарскому чрезвычайно тепло и считался с ним.

Луначарский был энциклопедически образованный человек, талантлив был до одурения, блестящий оратор, блестящий публицист и прекрасный собеседник, человек потрясающей одаренности. К сожалению, в политике он часто сбивался, сдавали нервы, и, может быть, этой своей чертой он тоже несколько импонировал Горькому, так как Горький также сбивался в политике и при трудных событиях немножко нервничал.

Вот эти колебания Анатолия Васильевича, чрезмерная мягкость разделялись Горьким. Горький относился чрезвычайно мягко к людям, даже к людям, враждебно настроенным к советской власти, за что его в свое время выбрал Сталин...» (Минувшее, 10 — 1992).

Максим Горький, признавая большие способности Луначарского, все же считал, что в нем «слишком много от книжного червя». Удивляло Горького в Луначарском и то, что не употреблял «непечатных выражений», что было «общей практикой» в среде большевиков и писателей. Возможно, вовсе не случайно Луначарский оставил исследование о Климе Самгине, что-то в этом горьковском образе привлекало Анатолия Васильевича. Может быть, смятение перед большевистским напором и жестокостью?..

Луначарский и Маяковский. Симпатии и разногласия, Маяковский учил диалектику не по Гегелю, а Луначарский по Гегелю и другим классикам философии. Но когда нарком и поэт сходились за бильярдным столом, Анатолий Васильевич неизменно говорил:

— Ну, Володя, вы меня сейчас разделаете под орех.

— Я не деревообделочник, — шуточно в своей манере отвечал Маяковский.

Короткая выдержка из воспоминаний Давида Бурлюка, относящаяся к 1918 году: «Луначарский побывал у нас и указал, как много, выпукло, ярко итальянец Маринетти и

Ко сделали и... как бледны и неопределенны мы – русские футуристы. Маяковский отвечал покладисто...»

Луначарский и Владимир Короленко. Второй был возмущен «диктатурой штыка», проявившейся ярко в 1920 году: «Мы, как государство, консервативны только в зле. Чуть забрезжит что-то новое, получше, гуманнее, справедливее, и тотчас гаснет. Приходит «новый курс» и отбрасывает нас к Иоанну Грозному...»

В истории остались письма Короленко к Луначарскому, датированные 1920 годом. В них крик и боль души Владимира Галактионовича. Вот только одна выдержка, касательная свободы мысли: «Нормально, чтобы в стране были представлены все оттенки мысли, даже самые крайние, даже самые неразумные. Живая борьба препятствует гниению и претворяет даже неразумные стремления в своего рода прививку: то, что неразумно и вредно для данного времени, часто сохраняет силу для будущего...»

Короленко апеллировал к Луначарскому, но от него практически ничего не зависело. Он-то был гуманист чистой воды, да кремлевские вожди были совсем другого разлива.

Однако пойдем дальше. Луначарский и Шаяпин. Луначарского крайне возмущала аполитичность русского гения, все его циничные заявления, что ему все равно, кто там у власти, лишь бы жратва была. Их хорошие отношения кончились тем, что в 1927 году Шаяпина лишили звания Народного артиста республики. И Луначарский объяснил в «Красной газете» за что: «в связи с политически ненормальным поведением...» Мол, нельзя быть враждебным к советской власти.

Луначарский и Мейерхольд. О Всеволоде Эмильевиче можно найти прелюбопытный пассаж в мемуарах Виктора Ардова: «Он был в общем-то человеком не от мира сего. То он задумал занять место Луначарского и стал вести интриги, чтобы его назначили наркомом. Это была совершенно бессмысленная затея, которая кончилась тем, что Луначарский в порядке мести отнял у него театр...» Потом театр был возвращен. В дальнейшем Луначарский осудил спектакль Мейерхольда «Великодушный рогоносец», посчитав постановку режиссера возмутительной, что лично ему наплевали этой постановкой в душу.

О Луначарском Ардов попутно заметил, что он «человек добрый и добропорядочный». Но были, разумеется, и другие мнения и оценки. Бунин назвал Луначарского «гадиной». Кто-то – «хлыщ». Михаил Кузмин – «балалайкой». Эренбург – «эстетом от Совдепии», Марк Алданов – «феноменальным пошляком».

Припечатал Луначарского и Викентий Вересаев в своих «Литературных воспоминаниях»:

«Луначарский – это захлебывающаяся самовлюбленность. Он тщеславен, как маленький ребенок, не сомневающийся, что он – самое великолепное существо во всем мире и что все в душе убеждены в том же. Поэтому не устает говорить о себе и восхвалять себя, поэтому мелко и злобно мстителен за всякий неблагоприятный отзыв о нем: если кто-нибудь его не хвалит, то, очевидно, что-нибудь имеет против него. Совершенно не чувствует, как бывает часто смешон».

Зубодробительно, да? Можно после таких слов и стреляться. Но все эти вересаевские инвективы, конечно, очень субъективны и продиктованы какими-то последствиями контактов с Луначарским, возможно, какими-то запретами наркома. Не будем гадать. Лучше приведем другую выдержку из воспоминаний Исаака Ямпольского, профессора Ленинградского университета, историка литературы. В 1931 году его в «Европейскую гостиницу» пригласил дальний родственник, литературовед Александр Дейч: «...Скоро в номер зашли Луначарский и Н. А. Розенель, с которыми Дейч меня познакомил. Розенель тут же испарилась, отправилась по каким-то своим делам, а Луначарский сказал: «Что же мы будем сидеть здесь, посидим лучше в ресторане». В ресторане (где-то сбоку, не на виду) мы были довольно долго. Я, разумеется, все больше слушал, а говорил и рассказывал Луначарский, говорил

живо, остроумно, упоминая о разных московских деятелях, преимущественно театральных, давая всем лаконичные и яркие характеристики... Но меня поразило вот что. Я был для Луначарского совершенно неведомым молодым человеком, о котором он ровно ничего не слышал. Однако ни одним словом, ни одной интонацией он не показал той дистанции, которая разделяет его, многолетнего наркома просвещения, всем известного публициста и критика, и меня, начинающего историка литературы. В этом проявилась удивившая меня высшая интеллигентность Луначарского, увы, встречается довольно редко даже у бесспорно интеллигентных людей, которые не могут удержаться от того, чтобы не показать свое превосходство».

Так каким был на самом деле Луначарский?

В том же 1931 году русский язык обогатился новым словом: «лишенец», то есть человек, лишенный продовольственного пайка. Таким лишенцем стал и... Константин Сергеевич Станиславский. До тех пор пока Луначарский, поняв всю глупость ситуации, не привез великому реформатору театра с извинениями хлебную карточку – как символ реабилитации. А сколько ранее, в 20-е годы, известных людей Луначарский спас от голода. Многим выхлопывал визу на отъезд за границу, чтобы там «подкормиться», – об этом рассказывает Нина Берберова в своей книге «Курсив мой» и в скобках добавляет: «Спасибо Анатолию Васильевичу!»

Так самовлюбленный или гуманный по отношению к ближним человек?..

И для равновесия еще один негатив. Про Луначарского ходило среди прочего и такое воспоминание, очень похожее на мифологическое. Вот оно:

Как-то раз один из старых друзей Анны Ахматовой пригласил ее к себе. Одновременно в гости ожидался тогда пролетарский вельможа Луначарский. Встреча была задумана с тайным желанием помочь писательнице восстановить старые связи, так как когда-то, до коммунистической революции, Ахматова и Луначарский встречались в литературных салонах.

Он вошел важный и толстый. И когда ему представили поэтессу, изобразил на своем жирном лице рассеянное равнодушие. И небрежно уронил:

– Мы, кажется, знакомы?

Перед ним сидела худощавая стройная женщина, с таким тонким, одухотворенным лицом, которое, увидев один раз, никогда не забудешь. Она спокойно подала ему узкую, красивую руку и очень вежливо ответила:

– Не припомню.

В тайниках души хозяин и гости были восхищены ответом Ахматовой, но план хозяина был разрушен.

Автор приведенного рассказа явно развел Ахматову и Луначарского по разным сторонам: ее в сторону благородства, его – в сторону низости и надменности.

Луначарский как литератор

Он писал стихи, пьесы, прозу, но при этом трудно назвать Анатолия Васильевича поэтом, драматургом и писателем. Скорее всего для него подходит слово «литератор». В принципе тоже вполне достойное определение. Он написал чрезмерно много. Много и мусора, но среди него можно обнаружить и оригинальные находки, и литературные блески. Вот, к примеру. Отрывок из поэмы «Концерт»:

...Наймись в рабы, наймись в шуты,
Чтоб черт побрал излишних!
Служи, шути – тили-ти-ти!..
Ты – для других, бесправен ты,

Лакей животных пышных.
Тили-ти-ти, тили-бум-бум,
Тили-на-на, тили-ла-ла!
Да здравствует базарный шум!

Базарный шум – это что? Предвидение России конца XX – начала XXI века? И там же, в той далекой поэме:

Все продается. Пламя дум,
Возвышенное чувство.
Изволь продать – тили-бум-бум!
И превращай в шурум-бурум
Науку и искусство!..

Лихо, Анатолий Васильевич, лихо. В работе «Основы позитивной эстетики» (1923) Луначарский писал: «Творческий процесс – счастливая, свободная игра духовных и физических сил творца». Значит, шурум-бурум? Этого шурум-бурума Луначарский много произвел сам, особенно в своих пьесах, которые он называл «драмолеттами», где фарсовые мотивы переплетаются с приемами философской пьесы. Всего таких одноактных пьес Луначарский написал около 20, а первую – «Королевский брадобрей» – в петроградской тюрьме в 1906 году. Неоконченной оказалась трилогия о Фоме Кампанелле.

Цитируемый ранее Денис Лешков вспоминал: «В драме начались постановки графоманического А. В. Луначарского: «Фауст и Город», «Канцлер и Слесарь», «Королевский брадобрей», «Яд» и «Бархат и лохмотья». Про последнюю пьесу в Москве сложили не лишнее остроумия четверостишие:

Нарком, собирая рублики,
Стреляет прямо в цель.
Лохмотья дарит публике,
А бархат – Розенель.

Вся «революционность» этого цикла пьес заключалась по преимуществу в их крайней несценичности...»

Но их ставили. Автор – нарком: куда денешься... Это герой комедии Луначарского «Другой климат» (1926) жаловался на редактора: «Что же, Павел Иванович, с голоду мне помирать? Напишу талантливо – вы говорите: неблагонамеренно. Напишу благонамеренно – вы говорите неталантливо...»

Сам Луначарский, видимо, считал, что он пишет талантливо и благонамеренно, тем более что он был одним из тех, кто устанавливал правила игры.

Александр Блок в письме к Нувелю отмечал, что, знакомясь со сборником «Знания», многих не хочется читать и... «помилуй Бог, Луначарского».

Леопольд Авербах, весьма приткий молодой человек, редактор журнала «На литературном посту» и генеральный секретарь РАППа, говорил Луначарскому прилюдно: «Мы вас ценим, но пьес ваших не любим. Бросьте эту пустую затею...»

Луначарский бросить не мог, ибо возглавлял Союз революционных драматургов. Да к тому же признавался, что пишет исключительно потому... впрочем, лучше приведем его слова точно: «Я просто хотел забыться и уйти в царство чистых образов и чистых идей». В подтексте читалось: устал от борьбы и революции.

Одним из яростных критиков Луначарского был писатель Марк Алданов. Он неистовствовал: «Этот человек, живое воплощение бездарности в России, просматривает, разрешает, запрещает произведения Канта, Спинозы, Льва Толстого, отечески отмечает, что можно, чего нельзя. Пьесы г. Луначарского идут в государственных театрах, и, чтобы не лишиться куска хлеба, старики, знаменитые актеры, создавшие некогда «Власть тьмы», играют дево-мальчиков со страусами, разучивают и декларируют «гррр-авау-пхоф-бх» и «эй-ай-лью-лью...»

Алданов написал в 1926 году пространную статью о Луначарском и в ней, можно сказать, уничтожил этого, по его словам, «утонченного большевицкого эстета». В статье Алданов припомнил Луначарскому Ленина:

«Все в Ленине нравилось г. Луначарскому: «Его гнев тоже необыкновенно мил. Несмотря на то, что от грозы его действительно в последнее время могли гибнуть десятки людей, а может быть, и сотни, он всегда господствует над своими негодованием, и оно имеет почти шутиливую форму. Этот гром, «как бы резвяся и играя, грохочет в небе голубом». Полагаю, что на этом изображении Ленина, который так необыкновенно мил, в почти шутиливой форме, резвяся и играя, умел губить десятки и сотни людей, можно составить политическую характеристику г. Луначарского. Да в ней собственно надобности нет: ведь главная прелесть тепличного растения, как сказано, заключается в его драматическом творчестве».

А далее Алданов по косточкам разбирает пьесу Луначарского «Канцлер и Слесарь», где среди героев действует графиня Митси, «очень шикарная женщина», и она изъясняется следующим образом:

«Боже мой, как мне хочется танцевать! Не надоевшие танцы, не танго даже, а безумие любви перед глазами смерти. Вот! Чтобы сидела смерть с пустыми глазами, а мне, обнаженной, объяснять бы ей без слов, что такое упоение страсти... Радефи, сыграйте какой-нибудь сверждемонический вальс».

А вот еще графиня Лара: «Конечно, смерть – это ужасно интересно. Я никому не советую жизнь жить. Мне 19 лет, но я уже не могу ждать неизведанного. Все слишком прозаично. Хочется другой земли и другого неба».

«Пьесы г. Луначарского, – пишет далее Алданов, – редко называются просто пьесами. Обычно они носят название «мистерий», «драматических сказок», «драматических элегий», «идей в масках» и т. д. Действия этих шикарных произведений происходят в местах, исполненных крайней поэзии, главным образом в готических замках с самыми шикарными названиями...»

Откуда такая тяга к фантазиям и шикарности? Алданов приводит слова Луначарского: «Одним из оснований моего решения издать эту книжечку была надежда, что, может быть, чтение ее доставит также кое-кому тень того сладкого и глубокого отдыха, который доставило мне ее сочинение».

Алданов отрицал такой посыл как ложный. Но, возможно, Луначарский был по-своему прав, создавая свои шикарные пьесы с красивыми графинями, ибо отчетливо понимал, что «история совершается и еще долго будет совершаться среди крови и слез. Изменить это положение вещей никто не в состоянии» (статья «От Спинозы до Маркса», 1925). А раз так, то необходим отдых, забвение, «целебный курорт».

Создавая иллюзорные или иллюзионные пьесы, Луначарский тем не выдвинул лозунг «Назад к Островскому», к сугубо реалистическим пьесам, драмам и комедиям, когда «Бедность – не порок» и когда «Правда – хорошо, а счастье лучше».

В 1927 году в Советский Союз приехал как бы на разведку композитор Сергей Прокофьев (кстати, он уехал из страны благодаря разрешению Луначарского). Прокофьев ходил в театры, в концертные залы, присутствовал при некоторых совещаниях деятелей искусств. И вот что он записал в дневнике 15 февраля об одном из них:

«Бой был между двумя лагерями: коммунистическим, желающим из театра сделать прежде всего оружие пропаганды («коль на рабочие деньги, так чтобы в пользу рабочему классу»), и театральным, желающим, чтобы театр прежде всего был театром, а не политической ареной («коль на деньги рабочих, то чтобы рабочим было интересно»).

Соль в том, что коммунистическую точку зрения защищали, разумеется, коммунисты, а театральную – не коммунисты, а может, и антикоммунисты, а потому последних можно было в любой момент обвинить в контрреволюции, и, следовательно, им надлежало быть очень осторожными и скромными.

Луначарский же, председательствовавший совещанием, предпочитал молчать: по положению он коммунист, но по вкусам эстет и театрал, а потому ему тоже надо было лавировать...»

Анатолий Васильевич и лавировал.

Луначарский твердо стоял на защите русской классической литературы. Но и советскую, как народный комиссар, поддерживал и пестовал, считая, например, «Мать» Горького – «изумительной социалистической поэмой». В многочисленных статьях и рецензиях Луначарский хвалил Маяковского и Есенина, Демьяна Бедного и Фурманова, Серафимовича и Сельвинского, Лавренева и Киршона, и многих других, как маститых, так и молодых.

Валерий Брюсов посвятил Луначарскому стихотворение, где были такие строки:

Ты широко вскрываешь ворота
Всем, в ком трепет надежд не погиб, —
Чтоб они для великой работы
С сонмом радостным слиться могли бы...

В доме Луначарского часто гостили молодые комсомольские поэты Александр Безыменский, Александр Жаров и Иосиф Уткин. «Когда они впервые появились в его кабинете, после беседы и чтения стихов, Анатолий Васильевич, – вспоминала Розенель, – радостный, оживленный, вышел из своей комнаты:

– Бросай все и приходи послушать! Как талантливо!»

Интересно, что читали молодые гости? Может быть, Уткин декламировал свою «Повесть о рыжем Мотэле»: «Чего хотел, не дали. Но мечты его с ним!..»

Не-ет, он шагал недаром
В ногу с тревожным веком.
И пусть он – не комиссаром,
Достаточно —
Че-ло-ве-ком!

Кстати говоря, Луначарский не только умел внимательно слушать, но и сам замечательно читал стихи и прозу, меняя тембр голоса, ритм, акценты. Однажды в гостях у Шалапина в присутствии Горького Анатолий Васильевич прочел «Моцарта и Сальери» Пушкина, после чего Алексей Максимович со слезами на глазах расцеловал его, повторяя: «Нет, Федор, не обижайся, но у тебя так не получится».

Однако следует сказать, что Луначарский, как нарком, был постоянно начеку по поводу политических оценок и выводов. Как-то Николай Эрдман прочитал ему свою сатирическую комедию «Самоубийца», где было много различных выпадов против власти («Интеллигенция – красная рабыня в гареме пролетариата» и прочие перлы). Луначарский смеялся чуть не до слез и несколько раз принимался аплодировать. Но после прослушивания обнял Нико-

лая Робертовича за плечи и довольно твердо сказал: «Остро... занятно... но ставить «Самоубийцу» нельзя».

Как человек – смеялся. Как нарком – запрещал.

Еще один запрет. Когда ему намекнули, что Марина Цветаева не прочь вернуться на родину, он воспротивился и сказал, что в этом нет необходимости, очевидно, помня стихи Марины Ивановны, посвященные белой армии, и слова о том, что «моя Родина везде, где есть письменный стол, окно и дерево под этим окном...» А вот Максимилиану Волошину Луначарский пошел навстречу и разрешил ему создать в Коктебеле дом для отдыха и работы писателей.

Добавим к многогранной деятельности Луначарского и его занятия переводами, в частности, он переводил стихи Гельдерлина, Ленау, Петефи... Если говорить об общем объеме написанного, то это – около 2 тысяч статей, рецензий, докладов, очерков по литературе и искусству. Плюс многочисленные письма. И солидный дневник, до сих пор не изданный.

Последние годы

Луначарский боролся за нового советского гражданина, эдакого рабочего-интеллигента, новой фигуры из новой эпохи Возрождения. А стране, партии, Сталину нужны были совсем другие люди: мастеровитые, стойкие, спокойные, верные, преданные «винтики» большой государственной машины. Что касается старой интеллигенции, то Сталин ее откровенно презирал и считал, что пролетариат может провести индустриализацию и без нее, без научных, культурных и административных знаний беспартийных специалистов. Коммунисты могут преодолеть любые препятствия. «Нам нет преград на море и на суше...» – как пелось в популярной песне.

Процитируем еще раз американского профессора Тимоти О'Коннора: «Сталин делал упор на революционную жертвенность и классовую борьбу, что расходилось с призывами Луначарского к социальной гармонии, товариществу и примирению. Предложенная Сталиным фантазия о мощной, индустриально развитой нации, мужественно защищающейся от внутренних и внешних врагов, перспектива работы для тех, кто был лишен гражданских прав при царизме, гораздо больше привлекали рабочих и партийные массы, чем то, о чем мечтал Луначарский – коллективное бессмертие, просвещение и социальное совершенствование путем культурного прогресса. В то время как Сталин и его последователи с успехом искажали утопические мечтания Луначарского, тот в свою очередь был не в силах признать противоречия, недостатки и парадоксы своих грез о социализированном человечестве».

Не отсюда ли рождались такие странные стихи Анатолия Васильевича:

Я устал... не оттого ли
Так столпились стихи?
Напирают, жмут до боли
На светящие верхи.
Что за бог, иль что за демон
Их рождает в темноте?
То годами жутко нем он,
То, страдая в полноте,
В час, когда устало тело —
Мысли, звуки тучей целой
Шлет сознанию моему.
Будет! – Я себе хозяин!
Бездну грез, фантомов, тайн

Я захлопну, как тюрьму.

Хозяином можно было быть только за письменным столом, в одиночестве, и ночью после интенсивной работы и утомительной борьбы. С каждым годом положение Луначарского в партии ухудшалось. Его обвиняли за философские отклонения от основной линии, постоянно шпыняли за бывшее богостроительство, и вообще партийная масса сомневалась в его политической лояльности. В их глазах Луначарский был гнилым либералом, особенно после того, как он выступил против чистки в рядах беспартийной интеллигенции, начало которой положило Шахтинское дело 1928 года. Более того, Луначарский посмел покритиковать Сталина и его сторонников за их «грубость и бестактность» в отношении старых спецов и ученых мужей.

Сталин давно недолго любил Луначарского, как, впрочем, и всю ленинскую гвардию. Ему не понравилось утверждение Луначарского, что Троцкий был «вторым крупным лидером русской революции», а также заявление о том, что «нельзя заменять Ленина одним политическим лидером». Проницательный Луначарский видел, куда катится дело революции и социализма, кожей ощущал стремление Сталина стать единоличным правителем России, ее диктатором и повелителем. Как тут не вспомнить раннюю пьесу Луначарского «Митра-спаситель» (1919), в которой царь Ирод-Архимат говорит: «Я хочу царить без соперников, без равных». – «Для чего?» – спрашивает Митра. На что следует однозначный ответ: «Для власти. Для наслаждения властью».

В октябре 1927 года Луначарский в целях самосохранения вынужден был осудить «троцкистскую оппозицию» и отвергнуть всякую связь с ней, но это его не спасло. В 1929 году Сталин снял Луначарского с поста наркома просвещения, вместо Анатолия Васильевича наркомом стал Андрей Бубнов (из семьи купца, старый большевик без какой-либо эрудиции). Судьба его была печальна: Бубнов был расстрелян как «враг народа» 1 августа 1938 года. Луначарскому повезло: он умер естественной смертью.

В конце 20-х годов Луначарский потерял большую часть своей прежней живости и искрометной энергии, частично и из-за ухудшившегося здоровья. Пришлось удалить глаз. И как вспоминал Федор Левин: «Я смотрел на него с душевной болью и чувством горестной любви. Ах, как он изменился! Похудел, как-то потускнел лицом. Та же борода, те же знакомые черты, но когда снял на секунду пенсне, стало заметно, что один глаз живой, блестящий, а другой – мертвый, стеклянный».

В молодости красивый и стройный, Луначарский быстро постарел и казался значительно старше своих лет. С детства слабое его здоровье с годами еще ухудшилось. Сильная близорукость заставляла его носить очки с толстыми стеклами. Потом он перешел на пенсне, но оно лишь подчеркивало его крупный нос. Среднего роста, он казался еще ниже из-за того, что сутулился, а став старше, располнел.

Перестав быть наркомом, Луначарский не оставил своей вулканической деятельности. Продолжал свои литературные труды. С 1927 по 1932 год был членом советской делегации в Подготовительной комиссии в Женеве перед Европейской конференцией по разоружению, затем работал на самой конференции.

1 февраля 1930 года Луначарский был избран действительным членом Академии наук СССР. Стал академиком и по праву. Но и это не избавило его от многочисленной критики. Что тут поделаешь: Луначарский нравился далеко не всем. Вот характерная запись из дневника Вячеслава Полонского от 1 апреля 1931 года:

«На одном из заседаний в Главнауке был зачитан один из трудов: всеобщая история искусства под редакцией А. В. Луначарского. Представитель Изогиза усомнился в идеологической доброкачественности издания. Имя Луначарского его не удовлетворило. «Мы хорошо знаем т. Луначарского, – сказал он, – целый ряд изданий под его редакцией оказался никуда

не годным». Он прав. Но дело в том, что т. Луначарский дает имя, ничего не редактируя. Он редактирует все: десятки журналов, обе энциклопедии – литературный отдел БСЭ и «Литературную энциклопедию»; редактирует собрание сочинений Толстого, Короленко, Чехова, Достоевского, Гоголя, главный редактор издательства «Академия», – и еще много изданий. К сожалению, он везде получает гонорар, но редактировать – времени у него нет. Он как бы обложил налогом редакции и издания. Даже собственные стенограммы он не правит: это делает литературный секретарь Игорь Сац (брат Натальи Розенель, жены Луначарского. – Ю. Б.). Отредактирует – хорошо. Забудет – не будет стенограммы. Отсюда чудовищные промахи в работах, которые публикуют под именем Луначарского».

Да, был такой грех: Луначарский брался за многое, хотел объять необъятное, а еще многочисленные поездки, выступления.

Из воспоминаний Татьяны Аксаковой:

«В начале 1929 года в связи с приездом в Ленинград А. В. Луначарского был объявлен его доклад о международном философском конгрессе в Оксфорде, с которого он незадолго до того возвратился... Зал в Юсуповском доме был переполнен, но время шло, а лектор не появлялся. Наконец, кто-то с эстрады объявил, что Анатолий Васильевич задержался по весьма срочному и важному делу в Академии, но все же обещает, хоть с опозданием, прибыть. Никто не стал расходиться. Наконец, около 11 часов появился явно взволнованный Луначарский и сказал: «Прошу меня извинить. Я задержался на экстренном заседании совета Академии Наук. На нас пала тяжелая обязанность лишить звания академиков Платонова, Лихачева, Любавского и Тарле». В потрясенном зале воцарилось молчание. Овладев собой, Луначарский перешел к докладу. Излагая свои впечатления о поездке в Оксфорд, он ни на минуту не присаживался и нервно ходил из конца в конец эстрады, изредка взглядывая на молчаливого человека с черными пронизывающими глазами, сидящего тут же за небольшим столиком в качестве секретаря. Не знаю, насколько это так, но я слышала, что по причине того, что Анатолий Васильевич в ходе своих речей был способен увлекаться и говорить лишнее, к нему был приставлен в качестве сдерживающего начала этот «секретарь» с черными глазами...»

Добавим к приведенной выдержке. Академики-историки Сергей Платонов, Николай Лихачев, Матвей Любавский и Евгений Тарле были исключены из Академии наук после их ареста в связи с так называемым «делом АН». Да, и за самим Луначарским уже внимательно приглядывали. Не ровен час – и... Но пронесло.

Судя по всему, Луначарский стал постепенно разочаровываться в советской идеологии и находился во внутренней оппозиции к сталинскому правлению. Луначарский и Сталин. Как выразился один зарубежный историк, «никакие другие два характера не были или не могли быть более враждебны друг другу и более несовместимы, чем эти два». Не случайно Луначарский, однажды прочитав высказывание композитора Скрябина о том, что «самая большая власть – власть обаяния, власть без насилия», – подчеркнул ее и на полях статьи сделал пометку: «Очень хорошо». Власть же Сталина держалась исключительно на насилии.

Но хватит политики. Лучше – лирика. В самом начале XX века Луначарский написал такое стихотворение:

Ах, прошло мое лето, и осень прошла,
Осень горько-печальной разлуки!
И последние дни доцветают они,
Полны сладкотомительной муки.
О, последние дни, надо пить вас, как мед,
Старый мед золотистый и сладкий,
Каждый миг надо пить с упоенной душой,

Каждый миг быстролетный и краткий...

Луначарский и пил эти миги. В конце октября 1925 года впервые после Октябрьской революции выехал в Западную Европу. В Берлине встречался с европейскими знаменитостями: Максом Рейнгардтом, Альбертом Эйнштейном, Эмилем Орликом, Максом Либерманом и многими другими. В театре «Фольксбюне» присутствовал на премьере своей драмы «Освобожденный Дон-Кихот». Зрителям она понравилась, и только одна из реакционных газет «Штальхейм» злобно шипела, что «Освобожденный Дон-Кихот» – замаскированная большевистская агитация, которую нельзя терпеть на немецкой сцене, притом агитация, сделанная настолько художественно и ловко, что она способна обмануть бдительность цензуры и именно поэтому особенно опасна.

В ноябре того же 25-го года общественность отметила 50-летие со дня рождения Луначарского и 30-летие его литературной деятельности. Как писала Луначарская-Розенель в книге «Память сердца», «для Анатолия Васильевича было совершенно неожиданно, что его юбилей превратился в такой праздник, в котором участвовали партийные организации, профессура, ученые, просвещенцы, писатели, люди искусства, учащиеся. Был устроен ряд вечеров и торжественных заседаний в Комакадемии, в Академии художественных наук, в Политехническом музее, в Доме работников просвещения, в Малом театре...

Далее в воспоминаниях с пафосом говорится, что в чествовании ничего казенного, официального не было – «ни в выступлениях множества делегаций, ни в художественно оформленных адресах, ни в бесчисленных телеграммах, присланных со всех концов Союза и из-за рубежа. Во всем сказывалось неподдельно хорошее чувство к писателю-коммунисту, первому наркому просвещения».

Узнаете стиль? Выутюженный стиль советских верноподданнических времен. На самом деле Луначарский чувствовал себя белой вороной в черной стае правителей страны, «полуопальной», «инородной фигурой».

В 1929–1933 годах он – формально председатель Ученого совета при ЦИК СССР, фактически «не у дел». Если не считать командировки за рубеж. Его одолевали болезни.

«Луначарский был болен, – вспоминал Владимир Лидин, – ему запрещено было, наверно, три четверти из стоявшего на столе, и, глядя на бутылки с вином и придвигая к себе стакан с молоком, он с грустной иронией сказал: «А Луначарский пьет молоко...»

Он ощущал себя больным и старым: «Боже – как я стар. Как Пер Гюнт» (ноябрь 1930). Его еще утешал ибсеновский герой.

Запись из дневника Вячеслава Полонского от 12 мая 1931 года: «Луначарский, постаревший, обрюзгший, побритый – отчего постарел еще больше, – сидел впереди, согнувшись, усталый, как мешок. Рядом раскрашенная, разнаряженная, с огромным белым воротником а-ля Мария Стюарт – Розенель. Одета в пух и прах, в какую-то парчу. Плышет надменно, поставит несколько набок голову, с неподвижным взглядом, как царица в изображении горничной. Демьян Бедный сказал, глядя на них: «Беда, если старик свяжется с такой вот молодой. Десять-двадцать лет жизни сократит. Я уж знаю это дело, так что держусь своей старухи и не лезу», – и он кивнул в сторону своей жены, пухлой, с покрашенными в черное волосами. Та – довольна. Но Демьян врет. Насчет баб – он тоже маху не дает. Но ненависть его к Розенель – так и прет. Он написал как-то на нее довольно гнусное четверостишие: смысл сводится к тому, что эту «розенель», т. е. горшочек с цветком, порядочные люди выбрасывают за окно. Луначарский некоторое время на него дулся, даже не здоровался, но на днях приветливо и даже заискивающе с ним беседовал вместе с женой».

Кажется, пришло самое время поговорить о женщинах. Были ли влюбленности в юности у Луначарского? Возможно. С первой женой, Анной Малиновской (1883–1959), он прожил 20 лет, она была моложе Анатолия Васильевича на 8 лет. Вторая жена – Наталья Розе-

нель (1902–1968) составила еще большую разницу в возрасте – 27 лет. Первая жена была писательницей, вторая актриса. И ради красавицы Розенель Анатолий Васильевич расстался с первой женой (с «дорогой Нюрочкой»), оставил и сына и ушел к Розенель. Сменил кремлевскую квартиру на апартаменты в Денежном переулке и в 47 лет начал новую жизнь. Кто-то вспомнил определение Ленина, которое он дал Луначарскому: «Миноносец «Легкомысленный». А другие отнеслись к перемене судьбы наркома с пониманием: кто может устоять перед красотой и молодостью. Наталье Розенель было 20 лет, молодая женщина в цвету.

Новая жена и подруга

В своих мемуарах Розенель написала очень скупое: «С весны 1922 года мы начали нашу общую жизнь с Анатолием Васильевичем и больше не расставались; а если наша работа вынуждала нас к кратковременным разлукам, мы писали друг другу подробные письма, в которых делились впечатлениями обо всем виденном и пережитом.

Для Анатолия Васильевича, так же как и для меня, самым любимым зрелищем было кино; спорить с ним мог только театр... В последний год жизни Анатолия Васильевича самым дорогим из всех видов искусства сделалась музыка; это объясняется отчасти тем, что из-за болезни глаз ему пришлось ограничить посещение кино».

Луначарский и кино – тема особая, и оставим ее за бортом нашего повествования, как и другие эпизоды, например, знаменитый диспут Луначарского с митрополитом Введенским. Поговорим о Розенель.

Наталья Александровна Сац, сестра композитора Ильи Саца, автора музыки к мхатовской «Синей птице». Родилась в Чернигове. Первый муж погиб в Гражданскую войну. Играла в театре «Семперантэ», в театре МГПС, затем в Малом, снималась в кино. Сыграла множество ролей, в том числе и в пьесах Луначарского (роль Юльки в «Медвежьей свадьбе» в паре с Еленой Гоголевой, в «Герцоге»). В кино снялась в двух фильмах в Берлине, еще в знаменитой ленте «Саламандра».

По воспоминаниям Александра Менакера, Розенель не блистала талантом, зато пленяла умом, воспитанностью и утонченностью. Она была образцом женской красоты 20-х годов. Один немецкий журнал назвал ее «самой красивой женщиной России». У нее были удивительно правильные черты лица, с легкой горбинкой нос (семейство Сац – никуда не денешься) и крошечная мушка на щеке. И русалочьи зеленые глаза... Короче, что-то от женщины-вампи, в том смысле, что Розенель своей красотой сражала наповал.

Вокруг Луначарского и его молодой жены ходило множество слухов, сплетен, легенд, стихов и эпиграмм. К примеру, подпольно гуляли такие строки:

В бардаке с открытым воротом,
Нализавшись вдоволь рома,
Вот идет с серпом и молотом
Председатель Совнаркома.
А за ним с лицом экстерна
И с глазами из миндалин,
Тащит знамя Коминтерна
Наш хозяин Оська Сталин.
Вот идет походкой барской
И ступает на панель
Анатолий Луначарский
Вместе с леди Розенель...

Далее про Калинина, Буденного, но это уже другие истории. Ну, а леди Розенель... Она раздражала многих. Женщины завидовали. Мужчины ехидничали. Характерная запись из дневника Полонского: «Розенель – красавица, мазаная, крашенные волосы – фарфоровая кукла. Играет королеву в изгнании. Кажется – из театров ее «ушли». Ее сценическая карьера была построена на комиссарском звании мужа. Сейчас – отцвела, увяла. Пишет какие-то пьески, – в Ленинграде добивалась постановки, но после первого же спектакля сняли. Прошли счастливые денечки!»

Счастливые денечки! Они проходят у всех, и наступают денечки черные. Так, они настигли и Вячеслава Павловича Полонского: он умер от тифа 24 февраля 1932 года в 45 лет. Доживи до 37-го – был бы расстрелян.

А Луначарский, живя в Женеве как член советской делегации и Лиге наций всю грустил. В ноябре 1930 года писал Розенель в письме:

«Однако я сильно пользуюсь Женевой: я очень хорошо, глубоко, важно читаю и думаю... я выиграл по части углубления в себя... Ах, как хочется читать, читать, читать... Гулял час по старой Рю де ла Коруж. Странно: в сущности, она очень мало изменилась за 37 лет! 37!!! Боже – как я стар. Как Пер Гюнт».

Менее чем два года до смерти, в феврале 1932 года, в письме к Розенель: «В сущности, как-никак, я живу на земле последние годы. Не подумай, что я собрался умирать. Нет, я очень охотно прожил бы еще (и, вероятно, проживу) лет до 65... Так вот: я очень счастлив думать, что мне осталось еще лет 9, в которые я буду иметь ясную голову, горячее сердце, жадные к миру глаза, уши, руки, желание творить, пить счастье и учить быть счастливым. Но не следует ли из этого все-таки, что надо стараться придать отныне своей жизни, так сказать, более торжественный характер? Именно характер теплого, ясного вечера, с пышным закатом, с благоухающими цветами и наполненным вечерними бликами и тенью садом? И чтобы казалось, что откуда-то звучит очень нежный, далекий колокол или хор. Чтобы было тепло, красиво и сладко, несмотря на вечер... Читать только существенное, мудрое, прекрасное? Писать только больше, нужное?..

Вообще жить так, чтобы каждый час пролетал на медленных широких крыльях. Чтобы не уходил, а приобретался. Чтобы в час смерти оказаться не растратчиком, а обладателем такой богатой внутренней жизнью, чтобы естественно выросло чувство: этому не может быть конца. Как ты думаешь?.. Я – натура довольно богатая и щедрая. Это не плохо. Но я недостаточно сосредоточен... Конечно, пути человека зависят не только от него. Есть неотвратимая судьба, случайность – тухе, как называл это Гёте. Но очень многое зависит от «даймона», т. е. от своего собственного самого лучшего «я»... Я вовсе не хочу стать ни святым, ни педантом, ни замкнутым философом: наоборот, я хочу быть веселым мудрецом. Хочу быть золотом, как начало осени, а не голым и пустым, как конец ее жизни. Жизнь моя, в общем, была счастливой... Но я хочу быть еще счастливее в последние годы...»

Подобные исповедальные письма можно писать только духовно близкому тебе человеку, очевидно, таким была Розенель для Луначарского.

В одном из последующих писем (4 марта 1932): «Если сердце не будет слишком шалить – то я еще лет 10 проживу! Больше, пожалуй, не надо. Но жить хорошо... Любовь на первом плане. Благодаря тебе я богат любовью. Потом природа. Она все больше меня привлекает. Жаль, что я не был и в молодости спортивно развитым человеком. Все искусства. Великолепная вещь – человеческая мысль. Политика сейчас – горька...»

«Горька» – это написано слишком осторожно.

Одну из статей Луначарский подписал аббревиатурой «А. Д. Тур». «Что это значит?» – спросила Розенель. «Все очень просто, – ответил Луначарский. – В переводе с французского «*Avant dernier Tour*» означает «предпоследний период жизни».

Процитируем одно стихотворение из того «предпоследнего периода»:

И все теряет сразу цену:
Чуть-чуть погрелся у костра,
Пригубил вин пустую пену —
И вот уйдешь... Куда? В Ничто,
И за тобой пройдут другие.
Душа жила пустой мечтой,
И под конец, бедняк, не лги ей!..

Выходит, строящийся в СССР социализм – это «пустая мечта»? А также романтически революционные мечты: «Мы люди нового утра!»?..

В июне 1933 года на квартире Луначарских состоялись двойные проводы: провожали экспедицию «Челюскин» и отъезд хозяина дома на лечение во Францию. Было весело и шумно. «Все присутствующие оказались связанными с Украиной. Отто Юльевич Шмидт до революции был приват-доцентом Киевского университета, Анатолий Васильевич родился в Полтаве, учился в киевской гимназии, Александр Дейч – коренной киевлянин, Илья Сельвинский – одессит, а Александр Довженко и я, – вспоминала Розенель, – черниговцы. Словом, собралось настоящее украинское землячество...»

В августе 1933 года Луначарский был назначен советским послом в Испании. Фактически он был выслан за границу, подальше от кремлевских глаз. Засел за испанский язык. На его ночном столе появились испанские словари, учебники, он прочитывал ежедневно две-три испанские газеты и читал роман Мадарьяги, подаренный ему автором, в подлиннике. Попутно лечился в санатории в Париже на одной из тихих улиц в районе Пасси. Он уже почти не вставал с постели. По утрам Розенель покупала ему ежедневный, как он выражался, «рацион прессы»: «Правду», «Известия», «Юманите», «Матэн», «Таймс», «Морнинг Стар», «Фигаро», «Гадзетта ди Рома», «АБС», «Винер Цайтунг», «Журналь де Женев» и другие газеты.

– Мадам, вы покупаете газеты для иностранцев, живущих в пансионе? – спросила однажды киоскерша.

– Нет, для мужа.

– Он читает на семи языках?

– Да.

– О, мадам... Значит, ваш муж самый образованный человек, о котором я когда-либо слышала.

Но газеты – это не лекарство, а всего лишь средство отвлечения от страданий. Болезнь прогрессировала. Луначарский понимал, что смерть близка. «Смерть – серьезное дело, – говорил он Розенель, которая пыталась отвести мужа от мрачных мыслей. – Это входит в жизнь. Нужно умереть достойно...»

Еще в июне 1930 года Луначарский вырезал из газеты и перевел с немецкого в дневнике стихотворение Германа Гессе:

Еще раз лето, уж простившись с нами,
Собрало силы и раскрыло крылья,
Сгущенными оно сияет днями
Лазурно-золотого изобилия.

Так человек в конце своих стремлений,
Обманутый, обратный путь готовя,
Остаток жизни ставит ставкой снова,

Кидаясь вдруг в седой прибой волнений.

Любви ли жжет блаженство и кручина,
Иль поздним творчеством душа томится —
В его делах, в его страстях струится
Осенний свет, сознание кончины.

Луначарский многое хотел сделать: успел закончить лишь одну из последних работ «Гоголиана (Николай Васильевич prepares макароны)», но не написал давно выстраданную книгу о Ленине. Последней его диктовкой была статья о Марселе Прусте. Символично: «В поисках утраченного времени».

Анатолий Васильевич Луначарский умер 26 декабря 1933 года в Ментоне, в курортном городке на Лазурном берегу, так и не доехав до «пункта назначения» – Мадрида.

В рождественскую ночь 25 декабря он разбудил Наталью Розенель: «Будь добра. Возьми себя в руки. Тебе предстоит пережить большое горе». А врачу, предложившему ему ложку шампанского, сказал: «Шампанское я привык пить только в бокале. И причины изменять свои привычки не вижу и сейчас». Через несколько часов он умер. Он прожил 58 лет и один месяц.

Похоронен Луначарский в Москве, в Кремлевской стене. Революционер. Богостроитель. Народный комиссар. Несостоявшийся посол.

Финальный аккорд

Вспоминается фраза Дона Аминадо: «Все еще были молоды и не расстреляны...»

Илья Эренбург: «Я помнил всех большевиков, окружавших Ленина в Париже, из них разве только Луначарскому и Коллонтай посчастливилось умереть в своих постелях...»

Предоставим слово и свидетелю тех пламенных лет. Нина Берберова «Курсив мой» (автобиография):

«Что значило тогда «уцелеть»? Физически? Духовно? Могли ли мы в то время предвидеть гибель Мандельштама, смерть Клюева, самоубийство Есенина и Маяковского, политику партии в литературе с целью уничтожения двух, если не трех поколений? Двадцать лет молчания Ахматовой? Разрушение Пастернака? Конец Горького? Конечно, нет. «Анатолий Васильевич не допустит» – это мнение о Луначарском носилось в воздухе. Ну, а если Анатолия Васильевича самого отравят? Или он умрет естественной смертью? Или его отстранят? Или он решит, что довольно быть коммунистическим эстетом и пора пришла стать молодым, кующим русскую интеллигенцию на наковальне революции? Нет, такие возможности никому тогда в голову не приходили, но сомнения в том, что можно будет уцелеть, впервые в те месяцы зародились в мыслях Ходасевича. То, что ни за что схватят, и посадят, и выведут в расход, казалось тогда немыслимым, но что задавят, замучают, заткнут рот и либо заставят умереть (так позже случилось с Сологубом и Гершензоном), либо уйти из литературы (как заставили Замятина, Кузмина и – на двадцать пять лет – Шкловского), смутно стало принимать в мыслях все более отчетливые формы. Следовать Брюсову могли только единицы, другие могли временно уцепиться за триумфальную колесницу футуристов. Но остальные?...»

Добавление по Владиславу Ходасевичу. Он и Берберова покинули Россию 22 июня 1922 года. В одном из писем по горячему следу Ходасевич писал: «Надо переждать, ибо я уверен, что к лету все устроится, то есть в Кремле сумеют разобраться, кто истинные друзья, кто враги. Тогда и поднимется вопрос о моем возвращении...»

Не разобрались. Ходасевич на родину не вернулся. Умер в эмиграции в Париже...

Ну, а Луначарский... Относительно ранняя смерть избавила его от судьбы Каменева, Зиновьева, Рыкова, Бухарина и других старых большевиков, ленинцев.

Расстрел Луначарского произошел три десятилетия спустя после его смерти. Тихий виртуальный расстрел в дневнике известного публициста Юрия Карякина. Вот эта расстрельная запись:

«8 января 1996 – сегодня, кажется, понял его суть. Догадывался раньше... Но сначала о том, почему, смею сказать, мы, большинство, – долго находились под его обаянием: да из-за своего невежества, а он знал языки, острил с архиепископом публично, был самым культурным наркомом просвещения, лекцию о ком угодно мог с ходу прочитать, хоть о Шекспире, хоть о Достоевском, хоть о Бахтине. Ну, конечно, живи он при Фурцевой, и ярче покажется Леонардо...

Так вот суть: НАЧИТАННЫЙ ЛАКЕЙ. Знал французские «вокабулы», был и навсегда оставался именно лакеем, лакеем марксизма, потом – лакеем богостроительства, ницшеанства, лакеем Ленина, лакеем Сталина. В лучшем случае его участь, его призвание – учитель словесности, попутно – совратитель гимназисток, и вдруг нарком просвещения. И Ленин, и Сталин, как хозяева, глубоко его презирали, а когда понадобилось, Сталин просто дал ему пинка и вышвырнул в послы в Испанию».

Убил Карякин Луначарского. Уничтожил. А попутно в своем дневнике он написал о «диком комплексе неполноценности» и в компанию к Луначарскому прибавил Максима Горького, Демьяна Бедного, Михаила Голодного, Артема Веселого... Все, что было в советское время, Карякин по-большевистски оплевал и вывалял в грязи. Какой смельчак и молодец!..

Ну, а мне-то что делать? Как заключить свое маленькое исследование о Луначарском? Как понять, что осталось от его жизни и деятельности в сухом остатке?

Луначарский любил повторять: «Человек, вырастивший дерево или написавший книгу, не умирает до конца».

Не будем подсчитывать деревья, а вот книги. Издано собрание сочинений Луначарского в 8-и томах (1963–1967). Выпущена фундаментальная (в 5-и томах) «Летопись» его жизни и деятельности. Пять томов не случайно. Старый большевик Бонч-Бруевич имел основание написать в письме к Луначарскому: «Вы жили не за одного и не за двух, а за пяти-рых».

Раз вспомнил Бонч-Бруевича, вспомним и Льва Троцкого, его слова, сказанные о Луначарском: «На посту народного комиссара просвещения Луначарский был незаменим в общении со старыми университетскими и преподавательскими кругами, убежденными в том, что ожидается полная ликвидация науки и искусства «невежественными узурпаторами». Луначарский же с воодушевлением и энтузиазмом доказывал этому замкнутому миру, что большевики не только уважали культуру, но и не были чужды ей. Бывало, какой-то академический старец, раскрыв рот, изумлялся этому вандалу, который мог читать на полудюжине современных языков и на двух древних и, походя, неожиданно выказывал такую обширную эрудицию, что хватило бы без труда на десяток профессоров. Примирению высококвалифицированной дипломированной интеллигенции с Советской властью во многом обязаны именно Луначарскому».

Это говорил политик, а вот что сказал известный искусствовед Абрам Эфрос в 1933 году на собрании московских художников:

«Луначарского можно назвать первым собирателем советской художественной интеллигенции. В те далекие времена, когда часть из нас противилась, часть была нейтральна, часть колебалась, в какую ей сторону идти, его слово зажигало глубокий интерес к новому строительству... Это человек, который огромной своей художественной отзывчивостью, огромным обаянием своего ума умел увлекать и вести...»

Ну, и что по сравнению со сказанным отдельные личные недостатки Анатолия Васильевича, его промахи и ошибки, заблуждения и литературные зигзаги в стиле «шурум-бурум». Так, мелочь. Всего лишь рябь на море. А он гнал мощную и красивую волну культуры и искусства.

Эрудит истории. Евгений Тарле (1875–1955)



Евгений Викторович Тарле, наш Геродот, Светоний и Фукидид, родился 27 октября (8 ноября) 1875 года в Киеве. Его отец, еврейский купец Вигор, конечно, хотел, чтобы сын пошел по его стопам. Однако торговая карьера никак не привлекала молодого Тарле, его увлекали совсем иные дали – исторические, очень было интересно сквозь дымку истории рассмотреть прошлое, героические и ужасные времена, разобраться в них, понять, чем движется история и в какую сторону она идет. Французский историк Эрнест Ренан говорил: «Талант историка в том, чтобы создать верное целое из частей, которые верны лишь наполовину». То есть собрать осколки и по ним воссоздать целое.

Так что никакие товары и капиталы, только история! И после гимназии Евгений Тарле поступил на историко-филологический факультет Киевского университета, который и окончил в 1896 году. Он влюбился в историю Западной Европы и эту любовь пронес через всю жизнь (Россия, конечно, интересна, но Европа – это альфа и омега последней человеческой цивилизации).

У Джорджа Бернарда Шоу есть афоризм: «Что скажет история? – История, сэр, солжет, как всегда». Расхожее мнение. Да, среди историков есть масса таких, которые вертят историю туда-сюда и излагают прошлые события в угоду правителям. Тарле был иным историком, для него главное была истина, он хотел и оставался предельно объективным исследователем исторических процессов. Его первый научный труд – «Крестьяне в Венгрии до реформы Иосифа II». Молодого способного историка заметили, и Тарле становится приват-доцентом Петербургского университета, потом профессором Юрьевского (нынешнего Тарту). С 1917 года Тарле – профессор Петроградского университета. Педагогическую деятельность сочетает с творческой, создает галерею исторических портретов деятелей буржуазно-либерального направления: Ройе-Коллара, Парнелла, Гамбетты и других. До создания этих портретов подверг тщательному анализу «Утопию» Томаса Мора.

Тем временем Утопия, но не моровская, а марксистская, будоражила российские умы. Тарле не закрылся в своем кабинете ученого, а вышел на улицу, участвовал в студенческих демонстрациях, выступал с лекциями, направленными против самодержавия, попал под надзор полиции. В феврале 1917 года поверил, что Россия пойдет по европейскому пути, но в октябре понял, что нет. Как отмечает историческая энциклопедия, «смысл Октябрьской

революции Тарле понял не сразу». Формулировка, на мой взгляд, неверная. Он не то что не понял, он все прекрасно понял, что это «всерьез и надолго», и поэтому смирился: историю не переделаешь... Другое дело – состоявшаяся история Франции.

Тарле с упоением работал в архивах и библиотеках Парижа, Лондона, Гааги и других европейских городов. Вводил в оборот доселе неизвестные документы. Оперировал многочисленными фактами, считая, что наличие даже случайных, безопасных и, казалось бы, ненужных деталей повышает доверие к историческим свидетельствам, подтверждая их объективность.

Среди трудов Тарле назовем исследования «Рабочий класс Франции в эпоху революции», «Континентальная блокада», «Экономическая жизнь королевства Италии в царствование Наполеона I», «Европа в эпоху империализма», «Рабочий класс во Франции в первые времена машинного производства. От конца Империи и восстания рабочих в Лионе» и другие. А блистательные исторические портреты «Наполеон» (1936) и «Талейран» (1939)!..

В книге «Современники» Корней Чуковский вспоминал о знакомстве с профессором (тогда он был еще профессором) Евгением Тарле: «Не прошло получаса, как я был окончательно пленен им и самим, и его разговором, и его прямо-таки сверхъестественной памятью. Когда Короленко, интересовавшийся пугачевским восстанием, задал ему какой-то вопрос, относящийся к тем временам, Тарле, отвечая ему, воспроизвел наизусть и письма и указы Екатерины Второй, и отрывки из мемуаров Державина, и какие-то еще неизвестные архивные данные о Михельсоне, о Хлопуше, о яицких казаках... А когда жена Короленко, по образованию историк, заговорила с Тарле о Наполеоне Третьем, он легко и свободно шагнул из одного столетия в другое, будто был современником обоих столетий и бурно участвовал в жизни обоих: без всякой натуги воспроизвел одну из антинаполеоновских речей Жюль Фавра, потом продекламировал в подлиннике длинейшее стихотворение Виктора Гюго, шельмующее того же злополучного императора Франции, потом привел в дословном переводе большие отрывки из записок герцога де Персиньи, словно эти записки были у него перед глазами тут же, на чайном столе.

И с такой же легкостью стал воскрешать перед нами одного за другим тогдашних министров, депутатов, актеров, фешенебельных дам, генералов, и чувствовалось, что жить одновременно в разных эпохах, где теснятся тысячи всевозможных событий и лиц, доставляет ему неистощимую радость. Вообще у него не существует покойников; люди былых поколений, давно уже прошедшие свой жизненный путь, снова начинали кружиться у него перед глазами, интриговали, страдали, влюблялись, делали карьеру, суеились, воевали, шутили, завидовали – не призраки, не абстрактные представители тех или иных социальных пластов, а живые, живокровные люди...»

Приведем воспоминания и Галины Серебряковой:

«Евгений Викторович Тарле был человеком изысканных манер, в котором приятно соединились простота с повышенным чувством собственного достоинства, утонченная вежливость с умением, однако, ответить ударом на удар. В общении с людьми такими, как он, вероятно, были бессмертные французские энциклопедисты, мыслители – писатели Дидро, Монтень. Мягкий голос, многознающие, чуть насмешливые глаза, круглая лысеющая голова средневекового кардинала, собранность движений, легкость походки – все это было не как у других, все это было особым. В совершенстве владел Тарле искусством разговора. Его можно было слушать часами. Ирония вплеталась в его речи, удивлявшие неисчерпаемыми знаниями. Франция была ему знакома, как дом, в котором он, казалось, прожил всю жизнь. Он безукоризненно владел французским языком и, будто отдыхая, прохаживался по всем векам истории галлов, но особенно любил XVIII и XIX века этой стремительной в своих порывах страны...»

Таких воспоминаний можно привести немало. Прибавим только строки Самуила Маршака:

В один присест историк Тарле
Мог написать (как я в альбом)
Огромный том о каждом Карле
И о Людовикелюбом.

Евгений Тарле – эрудит истории, и, казалось бы, творить ему легко и способно, но он жил в советской стране, в трудные времена, и его исторические построения и концепции прошлого (даже прошлого!) шли подчас в разрез с официально принятыми. В 20–30-е годы в исторической науке царил кремлевский фаворит академик Михаил Покровский. Возник острый конфликт, не только сшибка исторических воззрений, но и личная неприязнь, замешанная на зависти. Мировая научная общественность очень ценила Тарле и других остроумных академиков и мало уважала Покровского, главу «красной профессуры» и руководителя ряда коммунистических институтов. Возникло «дело историков», или «дело Платонова – Тарле». Подготовка к нему началась в январе 1929 года. Специально образованная комиссия по чистке кадров «вычистила» из Академии каждого четвертого научного сотрудника. Затем пошли аресты. Председатель Президиума АН академик Карпинский пытался защитить ученых, но его самого подвергли суровой критике в «Правде»: «Контрреволюционная вылазка академика Карпинского».

Что касается Тарле, то он давно был под подозрением властей. В 1918–1919 годах в своих публикациях по истории якобинской диктатуры он косвенно осуждал послеоктябрьский красный террор, в 20-е годы держался довольно независимо, заявляя о своей «внепартийности». Тучи сгущались давно, и, наконец, грянул гром. 2 февраля 1931 года группу академиков-историков, включая Сергея Платонова и Евгения Тарле, исключили из Академии. За этим последовал арест и следствие «по делу». Инкриминировали историкам ни больше, ни меньше, как заговор против власти. В ожидании ареста Тарле несколько месяцев просидел в «Крестах». В сидении он – выразимся мягко, – прогнулся и, возможно, поэтому получил мягкий приговор: всего лишь ссылку в Алма-Ату. Там он продолжал заниматься любимой историей и занял должность профессора в Казахском университете. Там же он начал свою знаменитую работу о Наполеоне. Алма-атинская эпопея длилась 13 месяцев, до распоряжения из Москвы о помиловании и возможности возвращения.

Откуда такая милость? Не исключено, что Сталин видел себя в образе коммунистического Наполеона и ему были необходимы придворные историки, чтобы они воплотили его образ в великих книгах. Но эти книги так и не были написаны ни Максимом Горьким, ни Евгением Тарле.

Вскоре после возвращения Сталин вызвал к себе Тарле и дал ученому четкие указания – что и как написать о Наполеоне и Талейране (позднее вождь давал такие же указания режиссеру Эйзенштейну, как следует снимать фильм об Иване Грозном). Сталин недвусмысленно сказал Тарле, что в случае невыполнения его установок историка отправят туда, откуда он только что вернулся.

С учетом пожеланий вождя, но и не меняя собственной концепции, Тарле написал труды о Наполеоне и Талейране. Они имели читательский успех, но тем не менее подверглись разгромной критике. Одна из причин: Предисловие в книге о Наполеоне написал опальный Карл Радек. Тарле обратился напрямую к Сталину разрешить ему ответить рецензентам в газете. Сталин ответил ему письмом: «Не нужно отвечать в газете. Вы ответите им во 2-м издании Вашего прекрасного труда». По другой версии, Тарле после разносной критики ждал ареста и впал в депрессию, как в самый для него тревожный момент раздался телефон-

ный звонок: «С вами будет говорить товарищ Сталин». Евгений Викторович замер, а вождь посоветовал ему не обращать никакого внимания на публикации в «Правде» и в «Известиях» и спокойно работать... Это успокоило Тарле. Ему вернули звание академика, и он продолжил активную научную и публицистическую деятельность.

Накануне Отечественной войны Тарле закончил исследование «Нашествие Наполеона на Россию», «Нахимов», а в военные годы другие патриотические книги об адмирале Ушакове и Кутузове, большое исследование «Крымская война». Ездил с лекциями по всей стране, выступал и на фронтах, принимал участие в комиссии по расследованию зверств фашистов, был участником Всемирного конгресса деятелей культуры в защиту мира, участвовал во многих международных конгрессах историков и т. д. Лауреат нескольких Сталинских премий, почетный профессор Сорбонны, почетный доктор многих европейских университетов, всего и не перечислишь. Но это, так сказать, официальный благодатный фасад. А было и другое. В годы борьбы с космополитизмом Тарле мужественно оставался на своих позициях уважения и преданности европейским ценностям. Постоянно утверждал, что Россия – это часть Европы. Не только не скрывал своего еврейского происхождения, но и подчеркивал его. На одной из лекций в университете один из студентов произнес фамилию академика с ударением на последнем слоге, Евгений Викторович его поправил: «Я не француз, а еврей, и моя фамилия произносится с ударением на первом слоге».

Невзирая на возраст, Тарле продолжал писать свои исторические сочинения, под градом критических стрел, и к нему можно применить фразу Талейрана: «Я счастлив и несчастлив».

Тарле умел дружить и ценил своих друзей. Татьяне Щепкиной-Куперник он подарил свое исследование «Роль русского военно-морского флота во внешней политике России при Петре I» с такой надписью: «Милой и дорогой поэтессочке, которая доводит свою сердечность до того, что читает работы своих друзей даже в тех прискорбных случаях, когда работы скучны. От любящего друга, читателя и почитателя. Е. Тарле. 22/IV – 1947».

По поводу мемуаров Щепкиной-Куперник Тарле писал ей: «...Просматривая далекие полки своих книг для одной научной справки, я случайно раскрыл журнал «Русское прошлое» за 1923 год и там наткнулся на Ваши воспоминания о Москве (литературно-театральной) 90-х годов. Мало я читал таких нежных, прекрасных, художественных строк, как эти! Это такая прелесть, так полно тоски и любви и так вместе с тем ярко – от театральных рыдванов до Сандуновских бань, от Гликерии Федотовой до керосиновых ламп, так как и тон, и цвет, и аромат прошлого, что под подобными строками без малейшего ущерба для самой репутации первого во всемирной литературе мемуариста мог бы подписаться сам Герцен. Только он умел волновать чужие сердца своими личными обыденнейшими переживаниями, давать запах и цвет старой, исчезнувшей из жизни (но не из его души) обстановки. Это – лучшее из всего, что Вы писали, из того, по крайней мере, что я знаю...»

Так писал Тарле, в таком духе и вел обычные беседы с друзьями и знакомыми – «утонченную, умную, немного комплиментарную», как определял Корней Чуковский беседу Евгения Викторовича. Жил Тарле в огромной ленинградской квартире, где было аж 3 кабинета, с видом на Петропавловскую крепость. Среди миллиона книг, с висящими на стенах портретами Пушкина, Льва Толстого, Чехова и других классиков русской литературы. Корней Чуковский вспоминал, как однажды, в июне 1951 года, Тарле прислал за ним машину. А далее – «великолепный обед, с закусками, с пятью или шестью сладкими, великолепная, не смолкающая беседа Евгения Викторовича о Маколее – о Погодине – о Щеголеве, о Кони, о Льве Толстом и Тургеневе, о Белинском, о Шевченко, о Филарете...»

Тарле превосходно знал не только историю, но и литературу. И всегда мыслил афористически, к примеру: «Достоевский открыл в человеческой душе такие пропасти и бездны, которые и для Шекспира, и для Толстого остались закрытыми».

Конец жизни? Он оказался печальным (а у кого он бывает веселым?) Евгений Викторович Тарле умер 5 января 1955 года, на 80-м году жизни. В своем дневнике Корней Чуковский записал: «Умер Тарле – в больнице – от кровоизлияния в мозг. В последние три дня он твердил непрерывно одно слово – тысячу раз. Я посетил его вдову, Ольгу Григорьевну. Она вся в слезах, но говорит очень четко с обычной своей светской манерой. «Он вас так любил. Так любил ваш талант. Почему вы не приходили! Он так любил разговаривать с вами. Я была при нем в больнице до последней минуты. Лечили его лучшие врачи-отравители. Я настояла на том, чтобы были отравители. Это ведь лучшие медицинские светила: Вовси, Коган... Мы прожили с ним душа в душу 63 года. Он без меня дня не мог прожить. Я покажу вам письма, которые он писал мне, когда я была невестой. «Без вас я размножу себе голову!» – писал он, когда мне было 17 лет. Были мы с ним как-то у Кони. Кони жаловался на старость. «Что вы, Анатолий Федорович, – сказал ему Евгений Викторович, – грех жаловаться. Вот Бриан старше вас, а все еще охотится на тигров». – «Да, – ответил А. Ф., – ему хорошо: Бриан охотится на тигров, а здесь тигры охотятся на нас».

Оказывается, в той же больнице, где умер Е. В., лежит его сестра Марья Викторовна. «Подумайте, – сказала Ольга Григорьевна, – он в одной палате, она в другой... вот так цирк! – (и мне стало жутко от этого странного слова). – М. В. не знает, что Е. В. скончался: каждый день спрашивает о его здоровье, и ей говорят: лучше».

Корней Иванович Чуковский скрупулезно записывал в своем дневнике все значимые события. И вот запись от 28 февраля 1955 года, среди прочего: «Умерла вдова Тарле. Звонил С. М. Бонди...»

Ольга Григорьевна Тарле пережила мужа менее двух месяцев. Не могла примириться с его уходом... Из рук академика Тарле выпало золотое перо. И тут же смолк серебристый голос его музыки. Счастливая судьба!..

Противоречивый классик. Алексей Толстой (1882–1945)



Алексей Николаевич Толстой мог остаться в тени своих великих однофамильцев – Льва Николаевича и Алексея Константиновича, но не остался и выделился. Он – один из крупнейших советских писателей. Можно даже сказать: титан. Он родился 29 декабря 1882 года, а по новому стилю – 10 января 1883 года в городе Николаевске Самарской губернии, ныне Пугачевск. О родителях, о семье все опустим. Отметим лишь, что Екатерина Пешкова, жена Горького, окрестила его «маленьким лордом Фаунтлерой» – вялый ребенок с несколько сонным выражением лица. Но первоначальная вялость таила в себе будущую кипучую энергию.

Начинал Толстой как поэт, и в 1907 году вышла первая книга декадентских стихов. «Мои песни – широко открытые раны, / Опаленные жгучею страстью; / Мои думы – пронзенные алым туманом, / Утонувшие где-то за далью...» Много лет спустя Корней Чуковский напомнил Толстому о его ранних стихах, тот всячески отмахивался, повторяя, что давно потерял к ним интерес.

В 17 лет Алексей Толстой определил своих любимых писателей: Лермонтов, Тургенев, Лев Толстой. «Войну и мир» перечитывал всю жизнь. Период ученичества быстро закончился, и Алексей Толстой из подмастерьев превратился в зрелого мастера. Он трудился споро и весело. В течение только одного 1911 года он печатался в 16 разных изданиях. Чуковский писал в те времена о нем: «Алексей Толстой талантлив очаровательно. Это гармоничный, счастливый, свободный, воздушный, нисколько не напряженный талант. Он пишет как дышит. Что ни подвернется ему под перо: деревья, кобылы, закаты, старые бабушки, дети, – все живет и блестит и восхищает...»

В Первую мировую войну Алексей Толстой в качестве военного корреспондента «Русских ведомостей» совершил ряд поездок на фронт. Писал репортажи, рассказы, пьесы (всего за творческую жизнь написал 42 пьесы). В июле 1918 года покинул голодную Москву, а далее эмиграция, из которой писатель вернулся в 1923 году, но уже не в Россию, а в СССР.

Перед отъездом на родину в апреле 1922 года Алексей Толстой писал Николаю Чайковскому, одному из организаторов белогвардейского «Союза возрождения России»:

«...Я не могу сказать, – я невиновен в лившейся русской крови, я чист, на моей совести нет пятен... Все мы, все, скопом, соборно виноваты во всем свершившемся. И совесть меня зовет не лезть в подвал, а ехать в Россию и хоть гвоздик свой собственный, но вколотить в истрепанный бурями русский корабль... Что касается желаемой политической жизни в России, то в этом я ровно ничего не понимаю: что лучше для моей родины – учредительное собрание или король, или что-нибудь иное? Я уверен только в одном, что форма государственной власти России должна теперь, после четырех лет революции, – вырасти из земли, из самого корня, создаться путем эмпирическим, опытным – и в этом, в опытном выборе и должны сказаться и народная мудрость, и чаяния народа...»

О том, как встретили Толстого в советской России, чуть позднее. Главное то, что он бурно развернул свою творческую деятельность. К ранее написанному «Детству Никиты» (1919–1920) добавились «Похождения Невзорова, или Ибикус» (1924), трилогия «Хождения по мукам» (1922–1941), «Гиперболоид инженера Гарина» (1925–1927), «Аэлита» (1923), «Петр Первый» (1929–1945), драматургическая диалогия «Иван Грозный» (1942–1943) и еще многое другое, включая знаменитый рассказ «Гадюка», книгу для детей «Золотой ключик, или Приключения Буратино», насквозь идеологизированную повесть «Хлеб». Всё перечислять – не перечислишь.

«Если бы не революция, – признавался Толстой, – в лучшем случае меня ожидала участь Потапенко: серая, бесцветная деятельность дореволюционного среднего писателя. Октябрьская революция как художнику мне дала все...»

Все – это почетное депутатство в Верховном Совете СССР, звание академика, три Сталинских премии (1941, 1943, 1946). Медали, ордена и прочие регалии. Помимо отдельных книг, «Полное собрание сочинений» в 15-ти томах.

Короче, классик, титан, глыбища. Алексей Николаевич Толстой прожил 62 года. Умер, заболев раком легких, 23 февраля 1945 года в возрасте 62 лет.

Книги, звания, награды – это фасад. А что скрывалось за фасадом, каким человеком был Толстой, как относился он к своим коллегам по перу и, главное, к власти, – и тут выплывает противоречивый Алексей Николаевич.

Мнения, оценки, определения

В очерке «Третий Толстой» Иван Бунин вспоминал: «В эмиграции, говоря о нем, часто называли его то пренебрежительно, Алешкой, то снисходительно и ласково, Алешей, и почти все забавлялись им: он был веселый, интересный собеседник, отличный рассказчик, прекрасный чтец своих произведений, восхитительный в своей откровенности циник: был наделен немалым и очень зорким умом, хотя любил прикидываться дурковатым и беспечным шалопаем, был ловкий рвач, но и щедрый мот, владел богатым русским языком, все русское знал и чувствовал, как очень немногие... Вел себя в эмиграции нередко и впрямь «Алешкой», хулиганом, был частым гостем у богатых людей, которых за глаза называл сволочью, и все знали это и все-таки прощали ему, что ж, мол, взять с Алешки! По наружности он был породист, рослый, плотный, бритое полное лицо его было женственно, пенсне при слегка откинутой голове весьма помогало ему иметь в случаях необходимости высокомерное выражение: одет и обут он был всегда дорого и добротно, ходил носками внутрь, – признак натуры упорной и настойчивой, – постоянно играл какую-нибудь роль, говорил на множество ладов, все меняя выражение лица, то бормотал, то кричал тонким бабыим голосом, иногда в каком-нибудь салоне сюсюкал, как великосветский фат, хохотал и чаще всего как-то неожиданно, удивленно, выпучивая глаза и давясь, крикая ел и пил много и жадно, в гостях напивался и объедался, по его собственному выражению, до безобразия, но, проснувшись на другой

день, тотчас обматывал голову мокрым полотенцем и садился за работу: работник был он первоклассный».

Вот такой портрет «красного графа» Алексея Толстого оставил нам Бунин. Еще одна бунинская характеристика: «Это был человек во многих отношениях замечательный. Он был даже удивителен сочетанием в нем редкой личной безнравственности... с редкой талантливостью всей его натуры, наделенной к тому же большим художественным даром».

Неужели Пушкин ошибался: гений и злодейство вполне совместимы?

Приведем высказывания писателя Романа Гуля: «Все, что Бунин в «Воспоминаниях» пишет о Толстом – «Третий Толстой», – верно. Надо сказать, художественно-талантлив Толстой необычайно. Во всем – в писании, в разговорах, в анекдотах. Но в этом барине никакой тяги к какой бы то ни было духовности не ночевало. Напротив, при внешнем барском облике тяга была к самому густопсовому мещанству, а иногда и к хамоватости. Бунин верно отмечает Алешкину страсть к шелковым рубашам, роскошным галстукам, к каким-то невероятным английским рыжим ботинкам. А также к вкусной еде, дорогому вину, ко всякому «полному комфорту»... «Дольче вита» могла с Толстым сделать все что угодно. Тут он и рискнул вернуться в РСФСР, и халтурил там без стыда и совести, и даже лжесвидетельствовал перед всем миром, покрывая своей подписью чудовищное убийство Сталиным тысяч польских офицеров в Катыни».

«Умел не только вкусно радоваться, но и вкусно огорчаться», – заметил о Толстом Илья Эренбург. Игорь Северянин писало нем:

В своих привычках барин, рыболов,
Друг, семьянин, хозяин хлебосольный,
Он может жить в Москве первопрестольной,
Вникая в речь ее колоколов...

И еще раз вернемся к воспоминаниям Ивана Бунина:

«В последний раз я случайно встретился с ним в ноябре 1935 года, в Париже...

– Можно тебя поцеловать? Не боишься большевика? – спросил он... и с такой же откровенностью, той же скороговоркой и продолжил разговор: – Страшно рад видеть тебя и спешу сказать, до каких же пор ты будешь тут сидеть, дожидаясь нищей старости? В Москве тебя с колоколами бы встретили, ты представить себе не можешь, как тебя любят, как тебя читают в России...

Я перебил, шутя:

– Как же это с колоколами, ведь они у вас запрещены?

Он забормотал сердито, но с горячей сердечностью:

– Не придирайся, пожалуйста, к словам. Ты и представить себе не можешь, как бы ты жил, ты знаешь, как я, например, живу? У меня целое поместье в Царском селе, у меня три автомобиля... У меня такой набор драгоценных английских трубок, каких у самого английского короля нету... Ты что ж, воображаешь, что тебе на сто лет хватит твоей Нобелевской премии?»

Нина Берберова в книге «Курсив мой»: «... по всему чувствовалось, что он не только больше всего на свете любит деньги тратить, но и очень любит их считать, презирает тех, у кого другие интересы, и этого не скрывает...»

Из дневника Корнея Чуковского – 20 декабря 1923 года: «... были у меня Толстые. Он говорил, что Горький вначале был с ним нежен, а потом стал относиться враждебно...»

В книге «Современники. Портреты и этюды» Чуковский отмечал: «Вообще, это был мажорный сангвиник. Он всегда жаждал радости, как малый ребенок, жаждал смеха и праздника, а насупленные, хмурые люди были органически чужды ему. Не выносил разговоров о

неприятных событиях, о болезнях, неудачах и немощах. Не потому ли он так нежно любил своего друга Андронникова. Что Андронников всюду, куда бы ни явился, вносил с собой беззаботную веселость...

Человек очень здоровой души, Алексей Толстой всегда сторонился мрачных людей, меланхоликов. Любил проделывать веселые шутки и мистификации. За несколько месяцев до войны в ресторане «Арагви» было чествование одного иностранного автора. Председателем был Толстой. К концу обеда ему наскучила чинность торжественной трапезы и он предложил тост за маленькую республику на Кавказе – Чохомбили. И назвал скромнейшего литератора, сидевшего за столом, великим национальным поэтом этой республики. Иностраный гость чокнулся с несчастным писателем, готовым провалиться сквозь землю...

Коллеги

Отношения с коллегами по перу у Алексея Толстого и в эмиграции, и по возвращении в СССР были сложными и в силу характера Алексея Николаевича, и в силу того, что он писал. Советская общественность встретила Толстого крайне враждебно. Не верили, завидовали, считали «засланным казачком», травили в печати и на диспутах. Написанную им «Аэлисту» называли мелкобуржуазной писаниной и «вреднейшим ядом». «Я теперь не Алексей Толстой, а рабкор-самородок Потап Дерьмов, грязный, бесчестный шут», – с горечью говорил Толстой. За ним прочно укрепились иронические титулы «рабоче-крестьянский граф», «красный граф».

В 1926 году Всеволод Вишневский записал в дневнике: «Толстой – способный малый. Этот эмигрант, «перелет», волнуяще пишет о наших делах, о 1918... Мне не верится, однако, его искренность. Как странно, Толстой живописует моряков, от которых бежал когда-то...»

«Приспособленец», «слишком краснощекий талант», «беспринципный циник», – что только не говорили братья-литераторы о Толстом.

Интересно вспомнить давнюю дневниковую запись от 17 февраля 1913 года, сделанную Александром Блоком: «... Много в Толстом и крови, и жиру, и похоти, и дворянства, и таланта. Но пока он будет думать, что жизнь и искусство состоят из «трюков»... – будет он бесплодной смоковницей. Все можно, кроме одного, для художника; к сожалению, часто бывает так, что нарушение всего, само по себе позволительное, влечет за собой и нарушение одного, той заповеди, без выполнения которой жизнь и творчество распыляются».

Блок был точен и прозорлив в своей характеристике Алексея Толстого.

Юрий Тынянов Толстого иначе как Алешкой не звал, тот отвечал Тынянову ответной неприязнью. Они и писателями были разными: у Тынянова героями выступали идеи, идеи боролись и сталкивались. А у Толстого – плоть, – так считал Корней Чуковский. Тынянов рассказывал Чуковскому, как в 1936 году Толстого познакомили с Мирским, тот оглядел его «графским» оком и подал ему два пальца.

Отзыв Михаила Зощенко о Толстом: «Это чудесный дурак». Сложными отношения были с Толстым у Ильи Эренбурга. По признанию Анны Ахматовой, Толстой был лютым антисемитом и Эренбурга не терпел. «Толстой похож на дикого мужика. Нюхом отличает художество, а когда заговорит – в большинстве чушь» (по записи Лидии Чуковской, 6 марта 1942).

Старая история: писатели, как правило, не дружат. Чаще ненавидят друг друга. И не будем приводить дальнейшие ругательные оценки. Лучше о другом. Алексей Толстой обожал застолье и часто в своем доме устраивал настоящие пиры. У него был свой круг ближайших друзей, среди которых было много артистов, один из них – знаменитый актер МХАТа Василий Качалов. Вот смачный отрывочек из воспоминаний Иракия Андронникова:

«— Садись, ради Христа, кушай. Ты же оголодал... Туся, он весь холодный! (Смотрит на Качалова, мигает часто, смеется радостно, подпуская легкое рычание). Садись... Налейте ему. И студень бери, Вася. Неправдоподобный студень – и прозрачный и весь дрожит. Ты только попробуй... Ты не знаешь, какая тут была безумная скука без тебя. Сидят все, как поповны, тихие, скушные, говорят о постоянном, гоняют сопливые грибы по тарелкам. И все – непьющие...»

Женщины Толстого

Туся – это третья жена Алексея Толстого – Наталья Крандиевская. Всего у советского графа их было четыре, ну, и, конечно, прочие влюбленности.

Первая – Юлия Рожанская, дочь коллежского советника, начинающая певица, в которую влюбился 17-летний Толстой, студент Самарского реального училища. Она была старше Толстого и считала его мальчишкой. И все же романтический, восторженный и взбалмошный Толстой сумел влюбить в себя Юлию. 3 июня 1902 года был зарегистрирован брак, и молодые укатили в Петербург. Рождение сына Юрия не умерило пыл Толстого: новая влюбленность в Софью Дымшиц, она известная художница, авангардистка и даже сыграла роль в скандально известной постановке Мейерхольда «Ночные пляски». Первая жена Толстого в отчаянии, но находит в себе силы и отпускает мужа во второе любовное плавание. «Если ты хочешь заниматься искусством, то Софья Исааковна тебе больше подходит», – сказала Юлия летом 1907 года, и Алексей Николаевич ушел к Дымшиц, хотя развод получил лишь 3 года спустя. Во втором браке рождается дочь Марианна.

Толстой занимается литературой, Софья живописью, и «семейная лодка разбилась...» – нет, нет, не о быт. Просто Толстой встретил новую женщину, Наталью Крандиевскую, молодую, талантливую поэтессу, которой сам Бунин пророчил большое будущее. Встреча эта произошла в 1915 году. И Софья Дымшиц спокойно, без всяких истерик, отпустила Алексея Толстого «на волю». В своих воспоминаниях она написала, что Крандиевская «была в моем сознании достойной спутницей для Толстого. Алексей Николаевич входил в литературную семью, где его творческие и бытовые запросы должны были встретить полное понимание. Несмотря на горечь расставания, это обстоятельство меня утешало и успокаивало».

Везло Алексею Николаевичу на понимающих женщин! А уж как его любила и понимала Наталья Крандиевская, Туся, – это почти сказка. Крандиевская стала для Толстого всем: его любовью, музой, матерью двоих детей, хозяйкой дома, литературным секретарем, агентом и еще бог знает кем. «Встречи, заседания, парадные обеды, гости, телефонные звонки. Какое утомление жизни, какая суeta!..» – напишет позднее, когда все это закончится.

Наталья Крандиевская все, что у нее было – свою молодость, красоту и прелесть, а заодно и свой поэтический талант, – отдала Алексею Толстому. Его дому. Его детям. И она не считала это жертвой: то были ее дети, ее дом, ее любимый муж Алексей Толстой. Но все это только до поры до времени. В 1935 году все рухнуло, и Крандиевская покинула Детское Село, где они до этого счастливо жили. Все подробности – весьма драматические и порою неприятные – опускаю...

Четвертой женой Толстого стала 26-летняя Людмила Крестинская, только что разошедшаяся со своим мужем писателем Баршевым. А Крандиевская вернулась к стихам. К горьким стихам.

Больше не будет свидания,
Больше не будет встречи.
Жизни благоухание

Тленьем легло на плечи...

А у Толстого все в порядке: дом по-прежнему полная чаша, молодая хозяйка, «быстрая, со звонким голосом, казалась мне женщиной, придуманной Алексеем Толстым, вышедшей из его книг» (Валентин Берестов). «Любимая секретарша» – она начинала работать у Толстого как литературный секретарь. Они жили в Барвихе. На широкую ногу. А за их спинами рассказывали анекдоты. Утро. В спальню Толстого стучится лакей: «Ваше сиятельство, машина подана. Извольте ехать в ЦК».

Алексей Толстой и Советская власть

Ну, а теперь «песня о главном»: Толстой и власть. Возвращение в СССР было делом большого риска. Трудно было графу вписаться в рабоче-крестьянский интерьер, а еще труднее писать то, что требовалось власти.

23 февраля 1930 года состоялась премьера пьесы Толстого «На дыбе». Критики ее раскритиковали, но «товарищ Сталин» поддержал, указав, однако, что Петр I «выведен недостаточно героически». И в дальнейшем Сталин неизменно поправлял и направлял творчество Алексея Толстого в нужное русло.

В феврале 1942 года Толстой закончил драму «Орел и орлица», и снова коррективы Сталина: «Поменьше внимания уделяйте женолюбию Ивана Грозного, дайте правильную политическую оценку опричнины как средства борьбы и... – тут вождь сделал небольшую паузу, а потом жестко добавил: – Ликвидации оппозиции».

Вот этот госзаказ на литературу и постоянно выполнял Алексей Толстой. О литературе подобного рода Аркадий Белинков писал как об идеологии властвующей верхушки, которую «с салфеткой в руке обслуживала купленная, проданная, преданная литература».

В 1942 году Толстой подверг ревизии все части трилогии «Хождения по мукам», спрямил и спримитизировал события Гражданской войны, в текст романа «Восемнадцатый год» ввел имя Сталина. И сразу вся трилогия утратила психологическое напряжение и приобрела искусственно-бодряческое «оптимистическое» звучание. Такой же коррекции подверглись «Сестры»: роман, начатый в эмиграции как антисоветский, превратился в свою противоположность – в просоветский.

Про тенденциозный «Хлеб» (1937) и говорить не приходится. Официальный историк академик Минц ставил на полях рукописи Толстого указания: «Сталина больше», «крепче», «больше выделить предательство», «мало презрения» и т. д.

Искореженные произведения тем не менее шли «на ура». Сталин признал и полюбил Алексея Толстого. Подвыпив, Алексей Николаевич бахвалился: «Меня Сталин любит!» Другим говорил трезво и со значением: «Я обменялся с НИМ трубками!»

Вот образчик выступления Толстого на митинге в клубе писателей 19 марта 1941 года: «Сталинская премия – это факел эстафеты на величественном, непомерном и неслыханном в истории пути Советского Союза, нашем пути к коммунизму... Настоящему собранию рапортуя о работах, которые я должен выполнить в 1941 году: к маю закончить роман «Хмурое утро» – третью книгу трилогии «Хождение по мукам». К осени этого года начать третью книгу трилогии «Петр I», с тем, чтобы закончить ее в 1942 году. Да здравствует вдохновитель нашего советского творчества товарищ Сталин!»

Вот она, трубка вождя, которую раскуривал Толстой.

Разумеется, не всем нравилось, что говорил и писал Толстой. Среди прочей почты сохранилось письмо одной читательницы, которая писала Толстому как депутату Верховного Совета СССР в ноябре 1937:

«Сегодня я сняла со стены ваш портрет и разорвала его в клочья. Самое горькое на земле – разочарование. Самое тяжелое – потеря друга. И то и другое я испытала сегодня. Еще вчера я, если можно так выразиться, преклонялась перед вами. Я ставила вас выше М. Горького, считала вас самым большим и честным художником... Вы казались мне тем инструментом, который никогда, ни в каких условиях не может издать фальшивую ноту. И вдруг я услышала вместо прекрасной мелодии захлебывающийся от восторга визг разжиревшей свиньи, слышавшей плеск помоев в корыте... Я говорю о вашем романе «Хлеб»... в «Хлебе» вы протаскиваете утверждение, что революция победила лишь благодаря Сталину. У вас даже Ленин учится у Сталина... Ведь это прием шулера. Это подлость высшей марки!.. Произвол и насилие оставляют кровавые следы на советской земле. Диктатура пролетариата превратилась в диктаторство Сталина. Страх – вот доминирующее чувство, которым охвачены граждане СССР. А вы этого не видите? Ваши глаза затянуты жирком личного благополучия, или вы живете в башне из слоновой кости?... Смотрите, какая комедия – эти выборы в Верховный Совет... Ведь в них никто не верит. Будут избраны люди, угодные ЦК ВКП(б) ... Сплошной фарс... Или, может, вас прикормили? Обласкали, пригрели, дескать, Алеша, напиши про Сталина. И Алеша написал. О, какой жгучий стыд!..»

И в конце этого очень эмоционального письма в адрес Алексея Толстого: «Я вас, как художника, искренне любила. Сейчас я не менее искренне ненавижу. Ненавижу, как друга, который оказался предателем».

В оправдание, нет, лучше в понимание Толстого следует сказать, что он, как и многие советские писатели, постоянно жил под страхом репрессий. Он ясно понимал, что «дружба» со Сталиным – это мнимая дружба и она, когда наступит роковой час, не защитит его. И еще надо отметить то, что он, действительно, пел дифирамбы и осанну власти, но в отличие от многих коллег не писал доносов. Более того, пытался некоторых писателей, попавших в беду, защитить, вытащить из лагерей, в частности, своего старого знакомого писателя Георгия Венуса. Толстой непосредственно обращался к Ягоде, а затем к Ежову с просьбой не карать Венуса.

Однако не защитил. Но не его это вина. Над самим Толстым в последние годы его жизни начали сгущаться тучи. Незадолго до его смерти Сталин вызвал к себе Фадеева и приказал раскрыть очередной заговор международных шпионов. По мнению вождя, среди них были писатели Павленко, Эренбург и Алексей Толстой. «Разве вам неизвестно, – спросил Сталин Фадеева, – что Алексей Толстой – английский шпион?»

Не умри Толстой вовремя, не избежать бы ему печальной участи «шпиона» и «врага». Ликвидировали бы, не колеблясь. Но никаким шпионом Алексей Толстой, конечно, не был никогда. Конформистом? Это стопроцентно всегда.

23 февраля 1945 года Алексей Толстой умер, ушел другом, не успев стать врагом. И газеты кинулись в громкий плач. «Тяжелая утрата», «Писатель великого народа», «Верный сын народа», «С гордо поднятой головой», «Русский талант», «Живой в памяти поколений», – кричали заголовки газет.

Толстой в свете литературы

Толстой как человек ушел. Толстой как писатель остался. Любопытную реплику бросил в далекие 20-е годы управдом дома на Малой Молчановке, где жил Толстой: «Обаятельный господин. Отпускает же столько господь одному!..»

Да, таланта отпустил много. У Толстого был удивительный живописный дар.

«Особенным свойством великих мастеров эпоса является умение сообщать изображаемому подлинность, – отмечал Юрий Олеша. – У Алексея Толстого подлинность просто магическая, просто колдовская!»

21 января 1942 года в Ташкенте Корней Чуковский записал в дневнике об очередной встрече с Толстым:

«Он всегда был равнодушен ко мне – и хотя мы знакомы с ним 30 лет, – плохо знает, что я такое писал, что я люблю, чего хочу. Теперь он словно впервые увидел меня и впервые отнесся сочувственно. Я к нему все это время относился с большим уважением, хотя и знал его слабости. Самое поразительное в нем то, что он совсем не знает жизни. Он – работяга: пишет с утра до вечера, отдавая всецело бумагам. Лишь в шесть часов освобождается от бумаг. Так было всю жизнь. Откуда же черпает он все свои образы? Из себя. Из своей внутренней, подлинно-русской сущности. У него изумительный глаз, великолепный русский язык, большая выдумка, – а видел он непосредственно очень мало. Например, в своих книгах он отлично описал 8 или 9 сражений, а ни одного никогда не видел. Он часто описывает бедность, малоимущих людей, а общается лишь с очень богатыми. Огромна его художественная интуиция. Она-то и вывозит его...»

В книге «Люди и встречи» Владимир Лидин говорил о Толстом, что он чувствовал русский язык, как музыкальная душа чувствует музыку. В эпохе Ивана Грозного и Петра I он чувствовал себя своим человеком. И далее: «Толстой может служить образцом писательского трудолюбия. Завет Плиния «Nulla dies sine linea» («Ни дня без строчки» – *лат.*) мог бы служить девизом Толстого. Какая бы ни была шумная ночь накануне, как бы поздно он ни лег, – утром Толстой был в труде. Поставив рядом кофейничек с черным кофе, он уже стучал на машинке – поистине великий трудолюбец, писатель по профессии...»

Тому же Лидину Толстой пенял в 1922 году в Берлине: «– Слушай, что у вас случилось с языком? Все переставлено, глагол куда-то уехал».

О себе Алексей Толстой рассказывал: «На работе я переживаю три периода: начало – обычно трудно, опасно. Когда чувствуешь, что ритм найден и фразы пошли «самотеком», – чувство радости, успокоения, жажды к работе. Затем, где-то близ середины, наступает утомление, понемногу все начинает казаться фальшивым, вздорным, – словом, со всех концов – заело, застопорило. Тут нужна выдержка: преодолеть отвращение к работе, пересмотреть, продумать, найти ошибки... Но не бросать – никогда!...»

«Я люблю процесс писания: чисто убранный стол, изящные вещи на нем, изящные и удобные письменные принадлежности, хорошую бумагу...»

Эстет творческого труда.

И еще одно высказывание Толстого: «Игра со словом – это то наслаждение, которое скрашивает утомительность работы. Слово никогда нельзя найти, отыскать – оно возникает, как искра. Мертвых слов нет – все они оживают в известных сочетаниях».

Алексей Толстой точно подметил, что «искусство... основано на малом (сравнительно с наукой) опыте, но на таком, в котором уверенность художника, «наглость» художника, вскрывает обобщения эпохи».

Вот, пожалуй, и все, если коротко вспоминать Алексея Толстого. Недавно вышла толстая книга о нем в серии ЖЗЛ, его автора Алексея Варламова терзали критики на осенней книжной ярмарке Non-fiction: какие, мол, чувства вызывает личность Алексея Толстого? Варламов ответил: «Восхищение и жалость». Если бы спросили меня, то я оставил бы «восхищение», но «жалость» заменил бы «сожалением».

Философ в тисках судьбы. Лев Карсавин (1882–1952)



То и дело раздаются утверждения, что в России никогда не было настоящей философии. На западе Кант, Гегель, Шопенгауэр, Хайдеггер, Гуссерль и т. д., а у нас, мол, никого не было. Нет, в России были мыслители и философы. Один из них – Лев Карсавин.

Лев Платонович Карсавин родился 1 (13) декабря 1882 года в Петербурге в семье танцовщика Мариинского театра. Дочь Тамара Карсавина пошла по стопам отца и стала такой же великой балериной, как Анна Павлова. Сын Лев «пошел в мать»: она была склонна к размышлениям, вела тетрадь «Мысли и изречения», к тому же приходилась племянницей Алексею Хомякову, поэту, публицисту и философу, основателю славянофильства.

Уже в старших классах гимназии в Льве Карсавине был явственно виден будущий ученый. Он окончил гимназию с золотой медалью и поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета и здесь оказался «самым блестящим из всех». В 1910–1912 годах Карсавин был командирован во Францию и Италию для работы в архивах и библиотеках. Вел большую преподавательскую и исследовательскую работу, защитил докторскую диссертацию «Основы средневековой религиозности». С 1915 года – профессор.

Современники вспоминали уютный кабинет Карсавина со стеллажами книг, красивой ампирной мебелью и большой картиной на стене – репродукция «Рождение Венеры», привезенная из Италии. В такой обстановке ученый принимал гостей и интенсивно работал. Если вспоминать его первые публикации, то это работа, посвященная истории конца Римской империи, и сборник стихов «Иллюзии... Мечты...» (1903).

В период с 1918 по 1923 годы статьи и книги Карсавина выходили одна за другой. Из статей следует выделить: «О свободе», «О добре и зле», «Глубины сатанинские», «София земная и горная», «Достоевский и католичество». Отдельными изданиями вышли книги «Католичество», «Введение в историю», «Джордано Бруно», «Восток, Запад и Русская идея», последняя посвящена «взыскующему граду евразийства». В ней Карсавин выдвинул мысль о духовном синтезе православного Востока с культурой Запада.

Всю свою жизнь Карсавин напряженно размышлял о жизни и смерти. Эти размышления составили главный труд его земного существования, что, естественно, не могло не

отразиться на его внешности. Как вспоминал один современник, «несмотря на его довольно выраженные черты лица, с него, с его длинными волосами, тонкой длинноватой заостренной бородой, так же, как и с Соловьева, можно бы было писать Христа. Его эрудиция была огромной и выливалась в свободной беседе, не утомляя слушателей».

В канун революции и в первые годы после нее Карсавин не только пишет статьи и книги, но и выступает с докладами, лекциями, участвует в многочисленных вечерах, диспутах и заседаниях. Карсавин не был сторонником большевизма, но и в то же время твердо верил в глубинный творческий смысл русской революции. И что совсем удивительно: после Октября читал проповеди в петербургских церквях и преподавал в основанном тогда православно-богословском факультете, что, конечно, не понравилось новым властям, и в газетах замелькали формулировки: «ученый мракобес», «средневековый фанатик», «сладкоречивая проповедь поповщины», «галиматья», «бессмысленные теории»... В России любят бить наотмашь, когда человек выделяется своим своеобразием и не хочет ходить со всеми в одном строю. А Карсавин по природе был вольнолюбивым и непокорным, не приемлел диктат и предпочитал двигаться против течения. «Тогда мысль и развивается, тогда и становится свободною, когда ее всемерно угнетают и преследуют», – писал он в 20-е годы.

Таких профессоров, как Карсавин, Ленин не терпел, он боялся всех этих мятежников духа. И как следствие нелюбви и страха вождя – «философский пароход», который отправил независимых мыслителей подальше от России. 16 августа 1922 года Карсавин был арестован работниками ГПУ, а 15 ноября того же года выслан на пароходе «Пруссия» вместе с другими русскими философами.

Профессору Карсавину, как и другим его коллегам по философии, истории и литературе, пришлось изведать все мытарства вынужденной эмиграции: сначала Берлин, затем Париж. Приходилось с превеликим трудом зарабатывать деньги, и Карсавин даже попробовал себя в качестве статиста на киностудии. Режиссер, увидев нового человека в масковке, тут же предложил ему роль... профессора философии. Но не кино главным было для Льва Платоновича, он продолжал свои научные работы, выпустил монографию «Философия истории», публиковал статьи на русском, немецком, итальянском и чешском языках. Сблизился с церковью. Вместе с Бердяевым, Лосским и Франком участвовал в сборнике «Проблемы русского религиозного сознания». В 1927 году Карсавин получил приглашение из Оксфорда, но его не принял (а если бы принял, то сохранил бы свою жизнь). Ему хотелось быть поближе к России, и он занял кафедру Литовского университета в Каунасе. И через год уже писал по-литовски. Ученые Литвы гордились, что в их ряды влился такой блистательный человек, как Карсавин, а в социалистической России о нем и не вспоминали: белый эмигрант – кому он нужен.

В Литве Карсавин пишет работу об идеях христианской метафизики и в 1923 году «Поэму о смерти», после выхода которой литовские друзья говорили о Карсавине: «Это наш Платон». Одна лишь фраза из «поэмы»: «Разверзается пучина адская; и в ней, как маленькая капля в океане, растворяется бедная моя земная жизнь...» Как человек тонкой психической организации, он предвидел свое будущее. И выдвинул формулу-девиз «И жизнь через смерть», то есть всякая жизнь через добровольную смерть, уподобляясь Христу.

В 1940 году (это уже в СССР) Карсавин переезжает из Каунаса в Вильнюс, преподает в университете, но вскоре его отставляют от профессорства и в 1946 году и вовсе увольняют из университета (старые эмигрантские грехи?). 9 июля 1949 года Карсавин подвергается аресту, затем приговор (10 лет строгого режима), и в декабре 1950 года он этапирован на Воркуту.

Здоровье Карсавина подорвано, начался открытый туберкулезный процесс, и он попадает в Абезь, инвалидный лагерь. За два неполных года в бараках Абези им создано не менее десяти сочинений, включая квинтэссенцию своей философии в форме венка сонетов и цикла

терзин (барак, холод, голод, унижение и... классические стихи!). Карсавин и в лагере нашел своих учеников, один из них – Анатолий Ванеев – оставил воспоминание об учителе. Как работал Карсавин? «Он устраивался полусидя в кровати. Согнутые в коленях ноги и кусок фанеры на них служили ему как бы пюпитром. Осколком стекла он оттачивал карандаш, неторопливо расчерчивал линиями лист бумаги и писал – прямым, тонким, слегка проявлявшим дрожание руки почерком. Писал он почти без поправок, прерывая работу лишь для того, чтобы подточить карандаш или разлиновать очередной лист...»

И далее Ванеев вспоминал: «Во всем, что говорил Карсавин, меня притягивала некая особая, до этого неведомая существенность понимания. Карсавин умел говорить, нисколько не навязывая себя. О вещах, самых для него серьезных, он говорил так, как если бы относился к ним несколько шутливо. И, когда он говорил, сдержанно-ласковая полуулыбка на его лице и алмазный отблеск в теплой черноте глаз как бы снимали расстояние между ним и собеседником».

Скончался Лев Карсавин 20 июля 1952 года в изоляторе для безнадежных, на 70-м году жизни. Перед смертью исповедовался ксендзу на литовском языке (православного священника рядом не оказалось). Так как умерших эков хоронили в безымянных могилах, врач-литовец и Ванеев решили вложить во внутренности усопшего закрытый флакон с запиской, в которой было сказано, кто такой Лев Карсавин. И в конце записки: «Прощайте, дорогой учитель. Скорбь разлуки с вами не вмещается в слова. Но и мы ожидаем свой час в надежде быть там, где скорбь преображена в вечную радость».

Вот такая тайная эпитафия была сделана на кладбище, где только высются маленькие холмики и нет никаких имен. Жертвы великой сталинской эпохи.

В своих трудах Карсавин выражал русскую религиозную мысль и постоянно вел диалог с Богом.

А я постичь Твою незримость чаю.
Отдав себя несущей ввысь мольбе,
Подъемляся, неясно различаю,
Что есть и то, что может быть в Тебе, —

так писал Карсавин в «Сонете XII».

Три главных работы оставил нам Карсавин: «Философия истории», «О началах», «О личности». И еще «Историю европейской культуры» в 5-ти томах. Рукопись 6-го тома была изъята при аресте и утрачена. Вот и все о Карсавине, если не вдаваться в его философские глубины. А в конце все же приведем одну короткую цитату, отнюдь не философскую, а ментальную:

«Если русский человек верит в абсолютное значение своего труда, он не щадит себя и границ не знает, обнаруживая энергию сверхчеловеческую, «до смерти работает». Если такого значения в действительности своей не усматривает, он поражает своею ленью и недвижностью, считает волю бездельем, работу рабством и «до полусмерти пьет...» (из статьи «О сущности православия»).

Интересно, читают ли современные кормчие и вожди России труды Льва Карсавина?..

Поэзия и лакейство. Демьян Бедный (1883–1945)



Когда Нижний Новгород переименовали в советские времена в Горький, писатель Борис Лавренев воскликнул: «Беда с русскими писателями: одного зовут Михаил Голодный, другого Демьян Бедный, третьего Приблудный – вот и называй города». Самым знаменитым из этой троицы был Демьян Бедный. О нем и вспомним.

Сегодня Демьяна Бедного помнят лишь знатоки русской поэзии. А когда-то!.. Нарком просвещения Луначарский говорил: «У нас есть два великих писателя: Горький и Демьян Бедный, из которых один другому не уступает...» В мемуарах Эренбург с горечью писал, что школьники в основном знают трех писателей: Пушкина, Максима Горького и Демьяна Бедного. Их проходят, изучают. А вот Достоевского не проходят...

Возникает вопрос: как же так? Был в фаворе, а ныне полное забвение? Ответ лежит в жизни и творчестве Демьяна Бедного. Поучительная судьба художника, отдавшего свою лиру в услужение власти. Поэт-большевик. Еще немного, и Маяковский пошел бы по этому неверному пути, но вовремя «поставил точку-пулю в конце». А Демьян Бедный хлебнул лиха, когда впал в немилость вождей.

Вспомним биографию Демьяна, который на самом деле Ефим Алексеевич Придворов. Демьяном Бедным звали дядю поэта, бескорыстного поборника правды – отсюда и псевдоним. Родился наш герой 1 (13) апреля 1883 года в деревне Губовка Херсонской губернии, в крестьянской семье. Отец будущего поэта служил позднее уборщиком при церкви и носильщиком на вокзале. Мать Демьяна по происхождению казачка и, как отмечено в «Автобиографии», «держала она меня в черном теле и была смертным боем». Грамоте Демьян научился рано и рано начал зарабатывать деньги – писал прошения крестьянам, читал псалтырь по покойникам. Ну, а в сельской школе познакомился с русскими классиками. Особенно увлекался Лермонтовым, Некрасовым, Львом Толстым и Надсоном. В третьем классе написал свой первый сатирический стих на какого-то четвероклассника, за который его «здорово поколотили».

После военно-фельдшерской школы в Киеве, где Демьян Бедный был представлен как лучший ученик инспектору-попечителю великому князю Константину Константиновичу (он же поэт К. Р.). Великий князь поспособствовал дальнейшему обучению, и в 1904 году Демьян Бедный поступил на историко-филологический факультет Петербургского универ-

ситета. Звание действительного студента давало ему право жить в Петербурге и заниматься литературной деятельностью.

Если вспоминать поэта К. Р., то это —

цветущую я созерцаю землю
и, восхищен, весне и ночи внемлю...
Какая тишина! Какой восторг!

У поэта Демьяна Бедного никакого созерцания, никакого восхищения и никакого восторга! У него совсем иное мироощущение и другие эмоции.

Одно из первых стихотворений, опубликованных в «Киевском слове» в 1899 году, началось так: «Пылая ревностью, полна обиды, гнева...» Затем пошла романсовая, в основном любовная лирика (как дань молодого возраста?), но знакомство с заведующим стихотворным отделом журнала «Русское богатство» Петром Якубовичем изменило всё. «Не лирика — главное ваше призвание...» — сказал Якубович и развернул Демьяна Бедного к общественно-политическим темам. И понеслись новые мотивы: «С тревогой жуткою привык встречать я день...», «Не примирился — нет!» и т. д. Встреча с большевиком Бонч-Бруевичем окончательно повернула Бедного к марксизму. Он начал сотрудничать в большевистской газете «Звезда», а когда появилась «Правда», то почти в каждом ее номере.

Один из его сатирических фельетонов назывался «О Демьяне Бедном — мужике вредном». Нет, он был не вредный, а верный: как начал служить большевистским знаменам, так служил им до конца. Верно. Пламенно. Горячо. По собственным словам, он стал «присяжным фельетонистом большевистской прессы». «С 1912 года, — писал Демьян Бедный, — жизнь моя как струнка... То, что не связано непосредственно с моей агитационно-литературной работой, не имеет особого интереса и значения».

Демьян Бедный лихо критиковал продажность и демагогию 4-й Думы, клеймил церковников-мракобесов, гневно откликался на Ленский расстрел, — короче, «Полна страданий наша чаша». Его заметил Ленин, и с 1912 года началась переписка между вождем и Демьяном Бедным. Ленин практически взял Бедного под свою опеку и писал товарищам по партии: «Талант — редкость. Надо его систематически и осторожно поддерживать. Грех будет на вашей душе, большой грех... перед рабочей демократией, если вы талантливого сотрудника не притянете, не поможете ему».

И притянули и помогли. В одной только «Правде» до революционного переворота Демьян Бедный опубликовал 97 сатирических стихов, басен, памфлетов, пародий. Занимался по существу политической работой: высмеивал октябристов и кадетов, меньшевиков и эсеров, осуждал либерализм, обличал самодержавие, издевался над церковью и призывал «грабить награбленное», агитировал за советскую власть и за Красную Армию, писал памфлеты на белых генералов и на лидеров Антанты и прославлял Ленина. То есть всю программу большевиков Демьян Бедный рифмовал и публиковал в доступных народу простеньких и хлестких строчках.

Гудит-ревет аэроплан.
Летят листки с аэроплана.
Читай, белогвардейский стан,
Посланье Бедного Демьяна...

...Сметя врагов стальным дождем,
Докажем всем шипящим змеям,
Что с нашим раненым вождем

Мы победить весь мир сумеем.
Мир торгашей и богачей
Напором пламенным разрушим...

Строчки, стоп! И надо сделать остановку и дать ремарочку: прошли десятилетия, и где этот «мир торгашей и богачей»? Батюшки-светы! Да он совсем рядом. За что боролись, товарищ Демьян Бедный?!

Как упоенно читали в тогдашние времена все эти агитки Демьяна, ведь, как он декларировал:

Прост мой язык, и мысли тоже:
В них нет заумной новизны, —
Как чистый ключ в кремнистом ложе,
Они прозрачны и ясны.

Первая книга «Басни» Демьяна вышла в 1913 году. Один из критиков отмечал: «Хороший, простой и сильный русский язык, местами вульгарный, местами даже грубый, но всегда соответствующий теме и ею оправдываемый; остроумие, прикрывающее редко злую, а чаще всего добродушную усмешку автора, меткость эпитетов – вот достоинства басен Демьяна Бедного».

«Баснописец четвертого сословия», – сказал Бонч-Бруевич. В 1916 году вышла вторая книжка «Диво дивное и другие сказки», ну, а потом пошли сплошные агитезы на большевистском масле. Даже Ленин однажды фыркнул: «Грубоват. Идет за читателем, а надо быть немножко впереди». А Бедный, кстати говоря, написал о Ленине одно из лучших советских посвящений вождю:

Никто не знал. Россия вся
Не знала, крест неся привычный,
Что в этот день, такой обычный,
В России... Ленин родился!

Ленинские угрозы советизировать Россию, задушить всех богатых и облагодетельствовать всех бедных Демьян выразил в поэме «Главная улица» (1917–1922), где изображена железная поступь народа:

Главная улица в панике бешеной:
Бледный, трясущийся, словно помешанный,
Страхом смертельным внезапно ужаленный,
Мечется – клубный делец накрахмаленный,
Плут-ростовщик и банкир продувной,
Мануфактурщик и модный портной,
Туз-меховщик, ювелир патентованный —
Мечется каждый, тревожно-взволнованный, —
У помещений с витринами пышными,
Средь облигаций меняльной конторы —
Русский и немец, француз и еврей,
Пробуют петли, сигналы, запоры:
– Эй, опускайте железные шторы!
– Скорей!

– Скорей!
—Скорей!..

И надежда на то, что полиция-милиция защитит богатых и проучит этих «проклятых зверей» – бедняков и изгоев. А пока – «Главная Улица стонет / Под пролетарской пятой!»

И снова маленькое отвлечение: а современные жители Рублевки и прочих элитных мест не боятся, не дрожат, не просыпаются в холодном поту, что идет народ?..

Но вернемся к Демьяну. Он написал издевательские стихи над Православной церковью и Священным писанием – «Новый завет без изъяна евангелиста Демьяна». Верующие были крайне возмущены, и вскоре в 1926 году в списках стало распространяться «Послание к Евангелисту Демьяну», через год оно было напечатано в Париже. Кто автор ответа? Неизвестно. По одной из версий – Сергей Есенин:

Не знаю я, Демьян, – в Евангелие твоём
Я не нашел правдивого ответа,
В нём много бойких слов, ох, как их много в нём,
Но слова нет, достойного поэта...
.....
Ты сгустки крови у креста
Копнул ноздрей, как толстый боров,
Ты только хрюкнул на Христа,
Ефим Лакеевич Придворов.
Но ты свершил двойной тяжёлый грех:
Своим дешевым балаганным вздором
Ты осквернил поэтов вольный цех,
И малый свой талант покрыл позором...

Возможно, что это писал не Есенин. Но Есенин и Демьян Бедный находились в те годы в контрах. Бедного обожала власть, а Есенин лишь бился за свое признание. Демьян воспевал вождей, партию и все, что было связано с ними, а Есенин откровенно говорил: «Конечно, мне и Ленин не икона». Признавался, что не раскрывал «пузатый «Капитал»: «Ни при какой погоде/ Я этих книг, конечно, не читал». В «Стансах» Сергей Есенин возмущенно писал:

Я вам не кенар!
Я поэт!
И не чета каким-то там Демьянам,
Пускай бываю иногда я пьяным,
Зато в глазах моих
Прозрений дивный свет.

Увы, за этот «дивный свет» платили до обидного мало. В воспоминаниях о Есенине Галина Бениславская писала: «Неужели ж можно было посадить Е. на построчную плату, и больше никаких? Так он долго выдержать не мог. Не раз приходилось спорить с С. А., когда он вопил, что его у себя дома (в России) обижают, что Демьян Бедный получил в Госиздате 35000 рублей, а он, Есенин, сидит без денег. Когда после этого он буквально благим матом орал: «Отдай, отдай мои деньги!» – всегда приходилось его успокаивать и убеждать, что гонорары Демьяна Бедного его не касаются... Но честно, без всякой педагогики оценивая это соотношение гонораров Есенина и Бедного, трудно не возмутиться. Демьяна, как в хозяйстве дойную корову, держат в тепле и холе, а Е. – хоть под забором живи...»

Сергей Есенин, «как жену чужую, обнимал березку» и печально жаловался: «Ты меня не любишь, не жалеешь...» А Демьян Бедный сочинял совсем иное:

Писал я, друзья, не для славы,
Не для легкой забавы,
Не для сердечной улады,
Не сладкие рулады.
Не соловьиные трели
Выводил я на нежной свирели:
Просты мои песни и грубы.
Писал я их, стиснувши зубы.
Не свирелью был стих мой – трубой,
Призывающей вас всех на решительный бой
С мироедской разбойной оравой.
Не последним бойцом был я в схватке кровавой...

На эту демьяновскую свирель откликнулся поэт Борис Зубакин, защищая Есенина от нападок Бедного, он писал:

И звон моцартнейшей свирели
Покрыл демьянистых – «Сальери».

В том давнем поэтическом соревновании Демьян Бедный – Сергей Есенин Демьян явно выигрывал, ибо опирался на неподготовленных людей, малообразованных и не отягощенных культурой читателей, для которых «борьба» и «народная правда» были ближе всякой «лирики» и «чувств». Другими словами, Демьян Бедный полагался в основном на популизм. О популярности Демьяна Бедного говорит тот факт, что в 20-е годы общий тираж его книг составил свыше 2 миллионов экземпляров (больше, чем у Максима Горького, Маяковского и Пильняка вместе взятых).

Демьяна Бедного ценил не только Ленин, но и Лев Троцкий. «Если это не «истинная» поэзия, то нечто больше ее», ибо, по мнению Троцкого, Демьян Бедный пишет не «о революции», а «для революции». Такая вот оценка. И награда. В приказе № 279 от 22 апреля 1923 года председатель Реввоенсовета Республики Троцкий отметил, что «Демьян Бедный, меткий стрелок по врагам трудящихся, доблестный кавалерист слова, награжден ВЦИК – по представлению РВСР – орденом Красного Знамени».

«Кавалеристу слова» – перо, шашку и книги в руки! Полное собрание сочинений Демьяна Бедного, вышедшее в 1925–1933 годах, составило 10 томов. Читайте и наслаждайтесь! Луначарский утверждал, что Демьян Бедный открыл «новый метод поэзии», допускающий смешение публицистики и ритмической речи, сырого жизненного материала и художественной техники, партийных директив и «массовых форм», соединяющих «разительность» и «наивность», а потому действенных и доступных. Ну, разве не могли нравиться такие строки-призывы:

Мы бьемся, мы бьемся упорно и смело
За наше народное общее дело,
За светлую жизнь бедняков!

И короткий, но очень понятный разговор:

Что с попом, что с кулаком —
Вся беседа:
В брюхо толстое штыком
Мироеда!..

Ну и «Проводы» – комсомольская песня:

Как родная мать меня
Провожала,
Как тут вся моя родня
Набежала.
Поклонился всей родне
У порога:
«Не скулите вы по мне
Ради бога.
Будь такие все, как вы,
Ротозей,
Что б осталось от Москвы,
От Расей?..»

Просто и доходчиво, в стиле чемпиона, то бишь Демьяна Бедного. Поэт-большевик, поэт-агитатор в упоении своей популярностью как-то не заметил, как стали меняться времена и сталинская политика, от былой революционности к новой державности. Демьян не понял, что строится не бедняцкое государство рабочих и крестьян, а великая империя, мощная и грозная. В моду входил великий русский народ, а Демьян Бедный талдычил свои старые песни. 6 декабря 1930 года грянул гром: постановление секретариата ЦК ВКП(б), осудившее стихотворные фельетоны Бедного «Слезай с печки!» и «Без пощады». Фельетонисту-баснописцу объяснили, что в последнее время в его произведениях «стали появляться фальшивые нотки, выразившиеся в огульном охаивании «России» и «русского»... в объявлении «лени» и «сидения на печке» чуть ли не национальной чертой русских».

Какая лень? Какая печка? Вся страна в грохоте индустриализации и коллективизации. «На просторах родины чудесной, / Закаляясь в битвах и труде...» (как писал Алексей Сурков в песне, посвященной Сталину). Битва и труд, а не лень и не печка!

Демьян Бедный обиделся на критику в свой адрес и написал письмо Сталину: за что обижают?!. Вождь резко ответил, заявив, что знает, «как надо читать поэтов», и упрекнул Бедного в зазнайстве: «Критика недостатков жизни и быта в СССР, критика обязательная и нужная, развитая Вами вначале довольно метко и умело, увлекла Вас сверх меры и, увлекши Вас, стала перерастать в Ваших произведениях в клевету на СССР, на его прошлое, на его настоящее».

Это был, выражаясь шолоховским языком, настоящий «отлуп». Начало сталинской опалы. А тут и еще одна пикантность: Демьян Бедный имел неосторожность записать в дневнике, что не любит давать книги Сталину, потому что тот оставляет на белых страницах отпечатки жирных пальцев. Вести дневник, живя в Кремле, а Демьян жил в кремлевских апартаментах, – дело рискованное. Секретарь Демьяна решил выслужиться и переписал для Сталина эту выдержку из дневника. Эта запись, конечно, возмутила вождя. Мгновенно изменилось и отношение партийных сановников к Демьяну Бедному – от восторга и почтения к холодному равнодушию и безразличию.

Неприятна была для Демьяна Бедного и восходящая звезда Бориса Пастернака. Есенин и Маяковский ушли из жизни, так – нате! – вошел в силу и в моду Пастернак!..

1934 год – первый съезд советских писателей. Демьян Бедный – грузный, бритоголовый, большой – упрекал главного докладчика по разделу поэзии Николая Бухарина в «склонности к бисквитам» и заявил, что, делая ставку на Пастернака, докладчик культивирует сверхтонченную лирику, или, как выразился Демьян, «поэтический торгсин для сладкоежек». И допустил личный выпад против Бухарина, что он-де «старчески щурит глаза». В ответ Бухарин высмеял всю «фракцию обиженных» (Демьян Бедный, Сурков, Жаров, Инбер, Безыменский).

1 декабря 1934 года убили Кирова, страна впала в шок. Демьян Бедный решил подыграть власти и напасть на троцкистскую «левую оппозицию». Он написал стихотворение «Пощады нет!», в котором в своем привычном стиле псевдорусского лубка изобразил радостную попойку «Левки» (Льва Каменева) и «Гришки» (Григория Зиновьева) после убийства Сергея Кирова:

Среди закусок и бутылок,
Надеясь на стеной бетон,
Смеялись: «Ха-ха, а ловко это он
Угробил Кирова!» – «В затылок!
Звук выстрела, короткий стон
И – крышка!»
«Пей, Левка, за успех!» —
«За наше дело, Гришка!»

Сработано и написано чересчур грубо: Демьяну захотелось быть больше роялистом, чем сам король. Бедного вызвал в Кремль Лазарь Каганович и резко отчитал за такие стихи (Сталин в это время отдыхал на Кавказе).

Еще один прокол Демьяна Бедного произошел в 1936 году, когда он написал либретто для оперы «Богатыри», на музыку Бородина. Задумывалась опера-фарс. Бедный решил спародировать отдаленное прошлое Руси и попутно высмеять в духе официально разрешенной антирелигиозной пропаганды обряд крещения. Снова вышло грубо и топорно.

29 октября в Камерном театре Александра Таирова состоялась премьера «Богатырей», а 13 ноября спектакль посетил Вячеслав Молотов, правая рука Сталина. Посмотрел, возмутился, и на следующий же день Политбюро приняло решение о запрете спектакля. Комитет по делам искусств Совнаркома СССР принял параллельное решение «О пьесе «Богатыри» Демьяна Бедного», в нем, в частности, говорилось, что опера-фарс огульно чернит богатырей русского былинного эпоса и антиисторически и издевательски изображает крещение на Руси.

Это окончательно запугало и деморализовало Бедного (могли и посадить, и расстрелять). Чтобы как-то отмазаться и выслужиться перед властью, Демьян пишет басню «Борись или умирай» на международную тему и посылает ее на предварительный просмотр, то бишь, на цензуру Сталину. 20 декабря 1937 года вождь написал ответ «на имя Демьяна» и послал его главному редактору «Правды» Льву Мехлису, письмо, естественно, было опубликовано. Басня Демьяна Бедного в нем была названа «литературным хламом».

Это уже был сигнал к репрессиям: в 1938 году Демьяна Бедного исключили из партии, в которой он состоял аж с 1912 года (восстановлен был лишь посмертно в 1956-м). Исключили Демьяна и из Союза писателей. В течение четырех лет ему было запрещено печататься. Вот так с пьедестала был свергнут Демьян Бедный, и ему, естественно, пришлось лихо. Многие коллеги, потирая руки от падения бывшего кумира, вспоминали с удовольствием старую эпиграмму Луначарского на Бедного:

Демьян, ты мнишь себя уже
Почти советским Беранже.
Ты, правда, «б», ты, правда, «ж»,
Но все же ты не Беранже.

Лев Никулин, вспоминая Бедного, писал: «Умница, он насквозь видел льстецов, но все-таки был падок на лесть, всегда при нем кто-то состоял в качестве адъютанта, только его положение пошатнулось, приближенных не стало. А было время, когда его, конечно, за глаза называли вельможей, и не без основания... жил в Кремле... В разговоре Демьян никого не щадил, в том числе и товарищей, занимавших высокие посты, но сам он очень тяжело переживал критику, которой подвергся в годы перед второй мировой войной...»

Денег не было, и Демьяну Бедному пришлось жить, продавая книги из своей личной библиотеки, а она была у него богатейшая, включая раритеты, изданные Смирдиным. «Много уникамов, – говорил ранее Бедный. – Я трачу на нее три четверти всего, что зарабатываю». Много досталось редких книг собирателю и от царских сундуков, которые ему пришлось разбирать, как члену специальной комиссии. «Чулки... бриллианты... записные книжки... Бриллианты – черт с ними. Кто взял эти бриллианты, я не знаю, но я такой жадный на записные книжки...» – рассказывал Демьян Бедный Корнею Чуковскому.

Из дневника Чуковского от 14 мая 1924 года: «Сегодня в Госиздате встретился с Демьяном Бедным впервые. Умен. И, кажется, много читает. Очень любит анекдоты... «Был я сейчас в Севастополе. Пришел ко мне интервьюэр. Я говорю ему: – Знаете, я такой суеверный. – Вы суеверный? – Да, я. Я заметил, что когда меня кто-нибудь интервьюирует, он сейчас же умирает. – Умирает? – Да... – Ой! – и репортер убежал».

Но это были золотые годы Демьяна Бедного, когда он был на пике популярности и любил шутить и подсмеиваться над другими. В ответ кто-то юморил: «Прежде литература была обеднена, а теперь она огорчена», – шутка о Бедном и Горьком.

В первый год Отечественной войны Демьян Бедный опубликовал в «Правде» стихотворение «Я верю в свой народ». Это было его возвращение в печать. Он активно писал басни и памфлеты. «Гитлер и смерть», «Прилетела ворона издалеча – какова птица, такова ей встреча» и т. д.

Демьян Бедный был болен, его мучили диабет и гипертония. В «Автоэпитафии» он заявил, что «долг исполнил свой» и смерти не боится. 25 мая 1945 года в санатории в Барвихе Демьян Бедный скоропостижно скончался, за обеденным столом. Демьян Бедный прожил 62 года.

Демьян умер, а его литературная судьба продолжалась. 24 апреля 1952 года было принято постановление ЦК ВКП(б) «О фактических грубейших политических искажениях текстов произведений Демьяна Бедного». Сокрушительной критике подверглись два его сборника – «Избранное» (1950) и «Родная армия» (1951). Ругали и Демьяна Бедного, и редакторов, которые включили в книги не те тексты, которые нужны, короче, «либерально-буржуазная фальсификация текстов». В постановлении ЦК особо подчеркивалось, что «Д. Бедный улучшал свои произведения» и «вносил в них исправления под влиянием партийной критики». Гослитиздату было поручено подготовить собрание сочинений Бедного под строгим контролем ЦК, и в 1954–1955 годах увидел свет последний пятитомник Демьяна. И посмертно, оказывается, он мог служить тоталитарному режиму и выполнять «очередные задачи Советской власти».

Лакейство и поэзия – вещи несовместимые, и это прекрасно доказал на своем примере Демьян Бедный. Необходимо вспомнить и Владимира Маяковского, которого тоже сгубила ангажированность власти. «Он писал хорошо до революции, – сказала о Маяковском Анна Ахматова, – и плохо – после. От Демьяна не отличить».

Понимал ли Демьян Бедный, что он продал за рубли свою Музу?

Колеса снова застучали.
Куда-то дальше я качу.
Моей несказанной печали
Делить ни с кем я не хочу.
К чему? Я сросся с бодрой маской...

Вот эта маска и осталась в истории советской литературы. А подлинное лицо Демьяна Бедного уже и не разглядеть.

У времени в плену. Борис Пастернак (1890–1960)

*Я весь мир заставил плакать
Над красой земли моей.*

Борис Пастернак. Нобелевская премия, 1959



Борис Пастернак... Его после смерти называли: «Гамлет XX века», «Рыцарь русской поэзии», «Заложник вечности», «Неуставный классик», «Лучезарная душа», «Один на всех и у каждого свой»...

Поэт из поэтов родился 29 января (10 февраля) 1890 года в Москве. Отец – известный художник Леонид Пастернак, мать – одаренная пианистка Розалия Кауфман. Борис Пастернак мог стать художником (под влиянием отца), музыкантом (его благословлял Скрябин), ученым-философом (учился в Германии, в университете Марбурга), но стал поэтом. Окончательный поворот к поэтическому творчеству состоялся в 1912 году: «Я основательно занялся стихописанием. Днем и ночью и когда придется я писал о море, о рассвете, о летнем доме, о каменном угле Гарца», – вспоминал Пастернак в автобиографической «Охранной грамоте».

И еще одно важное признание: «С малых лет был склонен к мистике и суеверию и охвачен тягой к провиденциальному...»

Во всем мне хочется дойти
До самой сути,
В работе, в поисках пути,
В сердечной смуте.

И все же Пастернак был скорее иррационален, чем рационален. Он жил чувствами.

Февраль. Достать чернил и плакать!
Писать о феврале навзрыд,

Пока грохочущая слякоть
Весною черною горит...

Состояние «навзрыд» стало визитной карточкой поэта на раннем этапе. Позднее он тяготел к простоте, но так и не стал простым поэтом для народа, а остался кумиром для избранных.

В 1913 году вышел первый поэтический сборник поэта «Близнец в тучах» тиражом 200 экземпляров. За густоту насыщения ассоциативными образами и парадоксальными метафорами Пастернака обвинили в «нерусской лексике».

Не избежал поэт и влияния модного в начале XX века футуризма, особенно после знакомства с Маяковским. Но в дальнейшем пути Пастернака и Маяковского разошлись. Марина Цветаева отмечала различную ценность и сущность Пастернака и Маяковского: «У Пастернака никогда не будет площади. У него будет, и есть уже... множество жаждущих, которых он, уединенный родник, поит... На Маяковском же, как на площади, либо дерутся, либо поют... Действие Пастернака равно действию сна. Мы его не понимаем. Мы в него попадаем... Пастернак – чара. Маяковский – явь, белейший свет белого дня... От Пастернака думается. От Маяковского делается...» (1932).

В декабре 1916 года вышла книга Бориса Пастернака «Поверх барьеров», в которой он отказался от «романтической манеры», и «новые мысли» бились, как золотые рыбки в металлическом садке. В новой книге ярко проявилась особенность поэтики Пастернака: он примелькавшуюся действительность волшебным образом почти всегда переводил в «новую категорию», то есть ее преобразовывал.

Любимая – жуть! Когда любит поэт,
Влюбляется бог неприкаянный.
И хаос опять выползает на свет,
Как во времена ископаемых...

Летом 1917 года Пастернак собирает книгу «Сестра моя жизнь». Выйдя из печати в 1922 году, она делает автора знаменитым. Ранее стихи, входящие в книгу, ходили в списках. Как отмечал Брюсов: «Молодые поэты знали наизусть стихи Пастернака, еще нигде не появившиеся в печати, и ему подражали полнее, чем Маяковскому, потому что пытались схватить самую сущность его поэзии». Многие поняли, что Пастернак – поэт даже не от Б-га, а сам Б-г сочинитель, тайновидец и тайносоздатель, хотя сам Пастернак часто себя представлял в стихах всего лишь как «свидетель» – свидетель мировой истории.

Сестра моя – жизнь и сегодня в разливе
Расшиблась весенним дождем обо всех,
Но люди в брелоках высоко брюзгливы
И вежливо жалят, как змеи в овсе.

А как не процитировать хотя бы начало стихотворения Пастернака «Определение поэзии»?

Это – круто налившийся свист,
Это – щелканье сдавленных льдинок,
Это – ночь, леденящая лист,
Это – двух соловьев поединок.

Вот так лирично и мощно начинал Пастернак. Затем последовали повесть «Детство Люверс», сборник «Темы и вариации», поэмы «Высокая болезнь», «Спекторский». В 1931 году вышла «Охранная грамота», в 1932 – «Второе рождение». В этой книге Пастернак окончательно отверг футуристическую поэтику и перешел к многослойности стиха, его смысловой ясности.

В 30-е годы положение Пастернака было весьма двойственным. Как точно определил сын и биограф поэта Евгений Пастернак, «все, за малым исключением, признавали его художественное мастерство. При этом его единодушно упрекали в мировоззрении, не соответствующем эпохе, и безоговорочно требовали тематической и идейной перестройки...»

Место Бориса Пастернака в советской литературе определил кремлевский бард Демьян Бедный:

А сзади, в зареве легенд,
Дурак, герой, интеллигент.

От поэта требовали верноподданнического служения, а он этого не понимал – скорее, не хотел понимать. «Он слышал звуки, неуловимые для других, – отмечал Илья Эренбург, – слышал, как бьется сердце и как растет трава, но поступи века так и не расслышал...» Об этом свидетельствует и телефонный разговор Пастернака со Сталиным в мае 1934 года. Пастернак пытался защитить арестованного Мандельштама, а заодно поговорить с вождем о жизни и смерти, но Сталин оборвал поэта-философа: «А вести с тобой посторонние разговоры мне незачем».

У Наума Коржавина на сей счет есть замечательные строчки:

И там, в Кремле, в пучине мрака,
Хотел понять двадцатый век
Суровый жесткий человек,
Не понимавший Пастернака.

Да, Сталин вряд ли понимал Пастернака и вообще считал его человеком не от мира сего. Может быть, поэтому и не тронул, оставил в саду поэзии как экзотический цветок.

В августе 1934 года проходил Первый съезд советских писателей. Борис Пастернак – делегат съезда. В отчетном докладе о поэзии Николай Бухарин сказал: «Борис Пастернак является поэтом, наиболее удаленным от злобы дня... Он, безусловно, приемлет революцию, но он далек от своеобразного техницизма эпохи, от шума быта, от страстной борьбы. Со старым миром он идейно порвал еще во время империалистической войны и сознательно стал «поверх барьеров». Кровавая чаша, торгашество буржуазного мира были ему глубоко противны, и он «откололся», ушел от мира, замкнулся в перламутровую раковину индивидуальных переживаний, нежнейших и тонких... Это – воплощение целомудренного, но замкнутого в себе, лабораторного искусства, упорной и кропотливой работы над словесной формой... Пастернак оригинален. В этом и его сила и его слабость одновременно... оригинальность переходит у него в эгоцентризм...»

Юлил Бухарин: любил Пастернака, но вынужден был его критиковать. О Пастернаке на писательском съезде говорили многие. Алексей Сурков отметил, что Пастернак заманил «всю вселенную на очень узкую площадку своей лирической комнаты». И, мол, надо ему выходить на «просторный мир»...

В 1936 году Борис Леонидович начал обустраиваться в подмосковном Переделкине. Вел себя крайне независимо. В 37-м отказался поставить подпись под обращением писателей с требованием расстрелять Тухачевского и Якира. Отказ как вызов власти. Пастернака

и тут не тронули – просто перестали печатать. Лишь в 1943 году вышла книга стихов «На ранних поездах», а летом 45-го – последнее прижизненное издание «Избранные стихи и поэмы». В 1948 году весь тираж «Избранного» уничтожили. И на долю поэта остались лишь переводы – жить-то было надо!

Гул затих. Я вышел на подмостки... —

это начало стихотворения «Гамлет». А заканчивается оно пронзительным ощущением одиночества:

Я один, все тонет в фарисействе.
Жизнь прожить – не поле перейти.

В начале 1946 года Пастернак, по его словам, приступает к «большой прозе». Первоначальные «Мальчики и девочки» переросли в роман «Доктор Живаго», завершённый к осени 1956 года. Как известно, роман попал за границу. 23 октября 1958 года Борису Пастернаку присудили Нобелевскую премию. И тут началась истеричная травля писателя: как он посмел отправить рукопись на враждебный Запад? Коллеги пинали Пастернака ногами, приклеивая ему злобные ярлыки типа «литературный сорняк»... А Пастернак недоумевал, отчего он попал в разряд гонимых.

Я пропал, как зверь в загоне.
Где-то люди, воля, свет,
А за мною шум погони,
Мне наружу хода нет... —

писал он в стихотворении «Нобелевская премия».

Травля привела к скоротечной болезни, и Пастернак скончался на 71-м году жизни. За месяц до своей кончины он написал: «По слепому случаю судьбы мне посчастливилось высказаться полностью, и то самое, чем мы так привыкли жертвовать и что есть самое лучшее в нас, – художник оказался в моем случае не затертым и не растоптанным».

Возник посмертный «пастернаковский бум». Вся интеллигенция запоем читала поэта и внимала его заветам. В стихотворении «Быть знаменитым некрасиво...» Пастернак писал:

Другие по живому следу
Пройдут твой путь за пядью пядь.
Но пораженья от победы
Ты сам не должен отличать.

И должен ни единой долькой
Не отступаться от лица,
Но быть живым, живым и только,
Живым и только до конца.

Незадолго до смерти поэта в Переделкино приезжал знаменитый американский композитор и дирижер Леонард Бернстайн. Он ужасался порядкам в России и сетовал на то, как трудно вести разговор с министром культуры. На что Пастернак ответил: «При чем тут министры? Художник разговаривает с Б-гом, и тот ставит ему различные представления, чтобы ему было что писать. Это может быть фарс, как в вашем случае, а может быть трагедия...»

И тут уместно привести характеристику Эренбурга, которую он дал Пастернаку: «... Жил он вне общества не потому, что данное общество ему не подходило, а потому, что, будучи общительным, даже веселым с другими, знал только одного собеседника: самого себя... Борис Леонидович жил для себя – эгоистом он никогда не был, но он жил в себе, с собой и собою...»

Я не держу. Иди, благотвори.
Ступай к другим. Уже написан Вертер,
А в наши дни и воздух пахнет смертью:
Открыть окно что жилы отворить.

Это написано Пастернаком в далеком 1918 году. Стихотворение называется «Разрыв». Его последняя любовь, Ольга Ивинская, заплатила за свои чувства чрезмерно высокую цену. Но это отдельная тема, как и темы «Пастернак и Маяковский», «Пастернак и Мандельштам», «Пастернак и Цветаева». Любопытно было бы изучить и тему «Пастернак и деньги». Когда он умер, в его гардеробе остались лишь пара отцовских ботинок, привезенных ему из Англии после смерти отца, и две курточки, одна из них самодельная.

Для поэта золото – пустяк. Главное – его золотое перо. Вдохновенные строки, вера в то, что «силу подлости и злобы одолеет дух добра».

Истерзанный «веком-волкодавом». Осип Мандельштам (1891–1938)



На памятнике в Москве он – элегантный господин в шляпе, с ироническим взглядом. Абстрактная пластическая фигура, не образ поэта, а его стихов. Мандельштам, уходящий по лестнице...

Все поэты Серебряного века так или иначе столкнулись с жестоким временем, но, пожалуй, лишь один Осип Мандельштам был разорван в клочья этим «веком-волкодавом».

Я рожден в ночь с второго на третье
Января в девяносто одном
Ненадежном году – и столетья
Окружают меня огнем.

Мандельштам ощутил тревогу с самого рожденья.

«Невозможно представить себе судьбу страшной мандельштамовской – с постоянными гонениями, арестами, бесприютностью и нищетой, с вплотную подступившим безумием, наконец, со смертью в лагерной бане, после чего его труп, провалявшись на свалке, был брошен в общую яму...» (Станислав Рассадин).

Это какая улица?
– Улица Мандельштама.
Что за фамилия чертова!
Как ее ни вывертывай,
Криво звучит, а не прямо!..
Мало в нем было линейного,
Нрава он не был лилейного.
И потому эта улица,
Или, верней, эта яма, —

Так и зовется по имени
Этого Мандельштама.

«Место Мандельштама, как одного из самых выдающихся поэтов нашего времени, прочно и общепризнанно, – отмечал маститый критик Дмитрий Мирский. – Высокое искусство слова, своеобразно соединенное «с высоким косноязычием», дают его стихам очарование единственное и исключительное».

Анна Ахматова говорила: «Мы знаем истоки Пушкина и Блока, но кто укажет, откуда донеслась эта новая божественная гармония, которую называют стихами Осипа Мандельштама».

Марина Цветаева писала: «Люблю Мандельштама с его путаной, слабой, хаотической мыслью... и неизменной магией каждой строчки».

Подробно рассказывать биографию поэта не имеет смысла: она давно известна. Как выглядел Мандельштам? «Тоненький, щуплый, с узкой головой на длинной шее, с волосами, похожими на пух, с острым носиком и сияющими глазами, он ходил на цыпочках и напоминал задорного петуха. Появлялся неожиданно, с хохотом рассказывал о новой свалившейся на него беде, потом замолкал, вскакивал и таинственно шептал: «Я написал новые стихи». Закидывал голову, выставлял вперед острый подбородок, закрывал глаза... и раздавался его удивительный голос, высокий и взволнованный, его протяжное пение, похожее на заклинание или молитву...» (Константин Мочульский).

Уравновешенный и здравомыслящий обыватель может задать вопрос: был ли Мандельштам нормальным? На него ответил Артур Лурье: «В моей памяти три поэта странным образом связаны с ноуменальным ощущением «детского рая»? Жерар де Нерваль, Хлебников и Мандельштам. Все трое были безумцами. Помешательство Нерваля известно всем; Хлебников считался то ли юродивым, то ли идиотом; Мандельштам был при всех своих чудачествах нормален и только в контакте с поэзией впадал в состояние священного безумия».

К интенсивному литературному творчеству Мандельштам обратился в Париже, где он учился в Сорбонне, в 1907–1908 годах, когда в моду входил модернизм. Первая подборка стихов появилась в сентябрьском номере журнала «Аполлон» в 1910 году. Сергей Маковский оставил воспоминания о том, как в конце 1909 года в редакции «Аполлона» появилась немолодая и довольно полная дама, «ее сопровождал невзрачный юноша лет семнадцати, видимо, конфузился и лънул к ней вплотную, как маленький, чуть ли не держался за ручку». Вошедшая дама представила юношу:

– Мой сын. Из-за него и к вам. Надо же знать, наконец, как быть с ним. У нас торговое дело, кожей торгуем. А он все стихи да стихи! В его лета пора помогать родителям... Работай, как все, не марай зря бумаги... Так вот, господин редактор, – мы люди простые, небогатые, сделайте одолжение – скажите, скажите прямо: талант или нет! Как скажете, так и будет...

Смешной эпизод, не правда ли? Конечно, талант – и какой – огромный! Появившиеся в «Аполлоне» стихи были нежными и поблескивали, как перламутр:

Невыразимая печаль
Открыла два огромных глаза,
Цветочная проснулась ваза
И выплеснула свой хрусталь.
Вся комната напоена
Истомой – сладкое лекарство!
Такое маленькое царство
Так много поглотила сна.

Немного красного вина,
Немного солнечного мая —
И, тоненький бисквит ломая,
Тончайших пальцев белизна.

Мандельштам поступает на историко-филологический факультет Петербургского университета (диплом, однако, он не получил) и входит в круг петербургской богемы. Ранний Мандельштам – весь легкий и светозарный. («За радость тихую дышать и жить, / Кого, скажите, мне благодарить?...»). Сначала он, вроде бы, числился в символистах, но вскоре отходит от символистского визионерства и приобщается к акмеизму. В программной статье «Утро акмеизма» заявляет: «Мы не хотим развлекать себя прогулкой в «лесу символов», потому что у нас есть более девственный, более дремучий лес – божественная физиология, бесконечная сложность нашего темного организма...»

И призыв: «Любите существование вещи больше самой вещи и свое бытие больше самих себя – вот высшая заповедь акмеизма».

Мэтры поэзии не приняли мандельштамовский манифест, и он был опубликован лишь в 1919 году в воронежском журнале «Сирена».

В 1913 году за свои деньги Мандельштам издал первый сборник стихов «Камень» (тиражом 300 экземпляров). Примечательно, что в нем символизм и акмеизм спокойно соседствовали, на что указал Николай Гумилев в «Письмах о русской поэзии». Вот одно из стихотворений Мандельштама, ставшее классикой:

Нет, не луна, а светлый циферблат
Сияет мне, – и чем я виноват,
Что слабых звезд я осязаю млечность?
И Батюшкова мне противна спесь:
Который час, его спросили здесь,
А он ответил любопытным: вечность!

В конце 1915 года выходит второй сборник «Камень», как принято говорить, дополненный новыми стихами. «Поэзия Мандельштама, – отмечал Ходасевич, – танец вещей, являющихся в самых причудливых сочетаниях». Но были и другие критики, которые отмечали «деланность», книжность, холод стихов. Все дело в том, что менялся сам Мандельштам, менялась интонация. Поэт перенимал тютчевскую лирическую манеру с ее возвышенным тоном и ораторским пафосом. Вместо лирических миниатюр появились маленькие оды или трагедийные монологи. Так постепенно складывался тот торжественный и монументальный стиль, который наиболее характеризует зрелую поэзию Осипа Мандельштама, «ледяной пафос» – как выразился Михаил Кузмин. И еще: все меньше в стихах Мандельштама остается лирики, все больше проступает история, но история не статичная, а вечно живая, вся в движении и перестановках:

Все перепуталось, и некому сказать,
Что, постепенно холодея,
Все перепуталось, и сладко повторять:
Россия, Лета, Лорелея.

По наблюдению исследователей Мандельштама, он больше всего любил смешивать, переслаивать и выявлять различные культурно-исторические пласты, прослеживать и выяв-

лять их глубинные связи и сложные взаимодействия. Сам образно определял принцип своей поэтической работы:

Вечные сны, как образчики крови,
Переливай из стакана в стакан.

В статье «О природе слова» он писал: «Русская культура и история со всех сторон омыта и опоясана грозной и безбрежной стихией русского языка...

Каждое слово словаря Даля есть орешек Акрополя, маленький Кремль, крылатая крепость...»

Тема «Мандельштам и женщины» – тема особая и сложно-трепетная. Он был очень влюбчив и... вот об этом «и» он писал:

И от красавиц тогдашних, от тех европейнок нежных
Сколько я принял смущенья, надсады и горя!

В 1919 году Осип Мандельштам встретился с молодой художницей Надеждой Хазиной, которая стала его женой и его моральной опорой. «На ней держалась жизнь. Тяжелая, трагическая его судьба стала и ее судьбой. Этот крест она сама взяла на себя и несла так, что, казалось, иначе не могло быть» (Наталья Штемпель).

Об отношении Мандельштама к революции Сергей Аверинцев писал так: «Уходящий державный мир вызывает у поэта сложное переплетение чувств. Это и ужас, почти физический. Это и торжественность... И третье, самое неожиданное, – жалость...»

Лично я выделил бы и еще одно состояние: растерянность. В молодой советской республике Мандельштам так и не смог найти своего места, не смог приспособиться к новым тоталитарным порядкам, не нашел в себе силы адаптироваться к новым условиям жизни. «Я должен жить, дыша и большевая...» – уговаривал он себя в 1935 году в ссылке в Воронеже, но «большеветь» он никак не мог.

Некая черта «не от мира сего» губила Осипа Эмильевича. Из воспоминаний Владислава Ходасевича: «...пирожное – роскошь военного коммунизма, гибель Осипа Мандельштама, который тратил на них все, что имел. На пирожные он выменивал хлеб, муку, масло, пшено, табак – весь состав своего пайка, за исключением сахара, сахар он оставлял себе».

И далее в мемуарах «Белый коридор» Ходасевич пишет про Мандельштама:

«...И он сам, это странное и обаятельное существо, в котором податливость уживалась с упрямством, ум с легкомыслием, замечательные способности с невозможностью сдать хотя бы один университетский экзамен, леность с прилежностью, заставлявшей его буквально месяцами трудиться над одним неудавшимся стихом, заячья трусость с мужеством почти героическим – и т. д. Не любить его было невозможно, и он этим пользовался с упорством маленького тирана, то и дело заставлявшего друзей расхлебывать его бесчисленные неприятности...»

Однажды Мандельштам стал зазывать Ходасевича в организованный второй «Цех поэтов»: «Все придумали гумилята, а Гумилеву только бы председательствовать. Он же любит играть в солдатики».

– А что вы делаете в таком «Цехе»? – спросил Ходасевич. Мандельштам сделал очень обиженное лицо.

– Я пью чай с конфетами».

Конечно, он не только пьет чай с конфетами, а много работает. Пишет статьи «Слово и культура», «Гуманизм и современность», в 1922 году выпускает книгу «Tristia», о которой

критик Николай Пунин отозвался так: «... очень пышный и торжественный сборник, но это не барокко, а как бы ночь формы...» А потом наступило не очень поэтическое время:

Век мой, зверь мой, кто сумеет
Заглянуть в твои зрачки
И своею кровью склеит
Двух столетий позвонки?..

Во второй половине 20-х годов Мандельштам оказался во власти прозы. В 1925 году выходит автобиографическая, но более – «петербурго-графическая» книга «Шум времени». В ней, по утверждению Анны Ахматовой, поэт «умудрился быть последним летописцем Петербурга». Появились и такие прозаические вещи Мандельштама, как «Египетская марка», «Путешествие в Армению», «Четвертая проза».

«Четвертая проза» – это крик Мандельштама, затравленного и загнанного в угол: «...Я срываю с себя литературную шубу и топчу ее ногами. Я в одном пиджачке в 30-градусный мороз три раза пробегу по бульварным кольцам Москвы. Я убегу из желтой больницы комсомольского пассажи навстречу смертельной простуде, лишь бы не видеть 12 освещенных иудинов окон похабного дома на Тверском бульваре, лишь бы не слышать звона сребреников и счета печатных машин...»

«...мне и годы впрок не идут – другие с каждым днем все почтеннее, а я наоборот – обратное течение времени. Я виноват. Двух мнений здесь быть не может. Из виновности не вылезаю. В неоплатности живу. Изворачиванием спасаюсь. Долго ли мне еще изворачиваться?..»

Мало того, что Мандельштам не смог вписаться в советскую пафосно-панегирическую литературу, он еще посмел покритиковать «хозяина», вождя, всеобщего кумира, у которого «тараканьи смеются ушица, / И сияют его голенища». И вообще —

Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны.

Такое не прощают. 13 мая 1934 года Мандельштам был арестован. За него заступился Бухарин, и поэт получил ссылку сначала в Чердань, затем в Воронеж на три года. Пытался покончить с собой, а потом спасался стихами.

«Поразительно, что простор, широта, глубокое дыхание появились в стихах Мандельштама именно в Воронеже, когда он был совсем не свободен», – писала Анна Ахматова. Как не вспомнить ключевую фразу из «Шума времени»: «Я один в России работаю с голосу, а вокруг густопсовая сволочь пишет...» И опять же знаменитые мандельштамовские строки, написанные в марте 1931-го:

Жил Александр Герцевич,
Еврейский музыкант, —
Он Шуберта наворачивал,
Как чистый бриллиант.
И всласть, с утра до вечера,
Заученную вхруст,
Одну сонату вечную
Играл он наизусть...
Что, Александр Герцевич,
На улице темно?

Брось, Александр Сердцевич, —
Чего там? Все равно!..

Властям было не все равно. 16 мая 1937 года закончилась воронежская ссылка, а в ночь с 1 на 2 мая 1938 года последовал новый арест, а вскоре и гибель. Мандельштам не дожид двух недель до 48 лет.

Петербург! Я еще не хочу умирать:
У тебя телефонов моих номера...

Стихи Мандельштама 30-х годов, спасенные от уничтожения его вдовой Надеждой Мандельштам, с конца 50-х годов распространялись в списках, по которым они впервые полностью были опубликованы в США в 1964 году. В настоящее время существует проект воссоздания архива поэта, который разбросан по всему свету (в Армении, Франции, Германии, Израиле, США, Канаде).

Ну, а сегодня книги Мандельштама в России в каждом магазине. Поэт растиражирован и доступен. Другой вопрос, кто читает ныне Мандельштама? Кому нужен его светносный дар? Кто постигает «силу словарной окраски», идя «от оттенка к оттенку», по выражению Юрия Тынянова? Чью нежность и ярость пестует Мандельштам?..

Фрагменты из жизни мастера. Михаил Булгаков (1891–1940)



Во взрослую жизнь он вступил в качестве врача. Затем поменял профессию на журналиста и драматурга. А закончил свой жизненный путь классиком русской литературы. Из письма Елены Булгаковой: «Я знаю, я твердо знаю, что скоро весь мир будет знать это имя...» (14 сентября 1961). Елена Сергеевна оказалась права.

Имя Михаила Булгакова долгие десятилетия находилось в забвении, он был под запретом, а потом плотину молчания прорвало, косяком пошли статьи, исследования, книги, театральные постановки, кинофильмы по произведениям Булгакова. Забурлила Булгаковиада. Беспамятство в головах прошло. Пришло ясное осознание: великий талант.

Рождение и образование

Михаил Афанасьевич Булгаков родился 3 (15) мая 1891 года в Киеве в семье доцента Киевской духовной академии. Детство было безмятежным и беспечальным. Он получил прекрасное домашнее воспитание. Впоследствии Булгаков говорил жене: «Знаешь, я очень благодарен отцу, что заставил меня выучить языки», то есть французский, немецкий, английский, греческий и латынь. Украинским Булгаков владел свободно, а уже позднее в Москве добавил испанский и итальянский.

Булгаков закончил прекрасную гимназию, а затем медицинский факультет Киевского университета. В Первую мировую войну и Гражданскую молодой врач делал ампутации и прививки, вскрывал нарывы, принимал роды... «Пережил душевный перелом 15 февраля 1920 года, когда навсегда бросил медицину и отдался литературе». Первые литературные опыты прошли во Владикавказе.

Булгаков и Москва

Впервые в Первопрестольной Булгаков побывал в 1916 году, а постоянным жителем Москвы стал с 1921 года. Но каким жителем? Без службы, жилья и денег. Бегая в поисках заработка по Москве, перебиваясь чаем с сахариним и картошкой на постном масле. Мечтал жить по-людски, «восстановить норму – квартиру, одежду, книги». Прежде чем стать журналистом, Булгакову пришлось поработать конферансье, редактором, инженером и даже составителем световой рекламы. Ну, а с весны 1922 года Булгаков прочно вступил на журналистскую стезю. Печатался в «Рабочем», «Рупоре», «Красном журнале для всех», «Гудке» и в других изданиях.

В своих пристрастиях Булгаков был воинствующим архаистом и поражал москвичей своим вкусом и одеждой (ну, это когда пришел твердый заработок): обожал фрак, рубашки с манжетами, запонки, одно время носил монокль, любил говорить старомодное «да-с» и «извольте-с». Булгаков поражал москвичей, а Москва поражала Булгакова.

Первое впечатление о Москве, в которую будущий писатель добрался в товарном вагоне (1921 год!): «Бездонная тьма. Лязг. Грохот. Еще катят колеса, но вот тише, тише. И стали. Конеч. Самый настоящий всем концам конец. Больше ехать некуда. Это – Москва, Москва».

С помощью Надежды Крупской Булгаков получил комнатку в типичном московском доме вблизи Триумфальной площади. Дом № 10 по Большой Садовой, где Булгаков жил в квартире 50, а затем в № 34. Именно здесь развивалось стремительное действие в романе «Мастер и Маргарита». Жил там Булгаков со своей первой женой Татьяной Лаппа, которая очень быстро ходила и была прозвана «быстрой дамочкой».

С «Записками на манжетах» Булгаков отправился на Сретенский бульвар: «В 6-м подъезде – у сетчатой трубы мертвого лифта. Отдышался. Дверь. Две надписи. «Кв. 50». Другая загадочная – «Худо». Отдышаться. Как-никак, а ведь решается судьба».

Свою судьбу в Москве Булгаков ковал ногами. «Не из прекрасного далека я изучал Москву 21–24 годов. О нет, я жил в ней и истоптал ее вдоль и поперек... Где я только не был! На Мясницкой – сотни раз, на Варварке – в Деловом дворе. На Старой площади – в Центросоюзе. Заезжал в Сокольники, швыряло меня и на Девичье поле...»

Из-под пера Булгакова выходили удивительные материалы: смесь очерка, репортажа и фельетона. Точность и деловитость соседствовали с лукавым юмором и едкой сатирой. Булгаков шлифовал свой будущий стиль.

Любопытно вспомнить, как в 1924 году он восклицал: «Москва! Я вижу тебя в небоскребах!» Булгакову эту картину не довелось увидеть, а вот нам! Мы увидели, но, увы, нам не хватает булгаковского сарказма в описании нынешних «Сити» и различных небоскребов-циркулей.

«Собачье сердце»

Время требовало верноподданнических бардов и хорового восхищенного пения, а Булгаков не был бардом и не хотел петь в хоре. По мироощущению он был сатириком, наследником Гоголя и Салтыкова-Щедрина, он все время находил в прекрасной советской действительности какие-то ужасающие пятна и недостатки. Время требовало барабанных палочек, а Булгаков тяготел к скрипке. Время требовало поддержки и оваций, а Булгаков скептически усмехался. Как отмечал Сергей Ермолинский, Булгаков «был общителен, но скрытен». «Он не был фрондером! Положение автора, который хлопочет о популярности, снабжая свои произведения якобы смелыми, злободневными намеками, было ему несносно. Он называл это

«подкусыванием советской власти под одеялом». Такому фрондерству он был до безразличности чужд, но писать торжественные оды или умильные идиллии категорически отказывался».

После «Дьяволиады» и «Роковых яиц» Булгаков пишет повесть «Собачье сердце». Что-то стало известно власти, и 7 мая 1926 года к Булгакову пришли с обыском, забрали дневники и рукопись «Собачьего сердца», отпечатанную на машинке. И с этого дня органы стали «пасти» писателя, наряду с другими представителями творческой интеллигенции, рассматривая их как оппозиционную политическую силу. Более того, Генрих Ягода направил список кандидатов на арест в Политбюро, где под седьмым номером значился и Булгаков. Однако по каким-то причинам арест не состоялся.

«Собачье сердце» пропало в недрах ОГПУ и отыскалось лишь в 1991 году. Сегодня повесть воспринимается как бытовая сатира на 20-е годы, но исследователи творчества Булгакова обратили внимание, что булгаковский текст полон тайнописи и отражает политическую расстановку сил того времени.

По версии одного из исследователей, профессор Преображенский – это спародированный Ленин, его ассистент, доктор Борменталь – это Троцкий (Борменталь – Бронштейн опять же созвучие), а Шарик, впоследствии Шариков – это Сталин. Шарик – маленький шар, а Сталин был маленького роста. Шариков – результат скрещивания дворняги с бандитом Климом Чугункиным (опять намек на бандитское прошлое Сталина). Шарик и Клим Чугункин (как не вспомнить Клима Ворошилова) получили преображение в образе Полиграфа Полиграфовича Шарикова, а полиграф по-гречески означает «много писать», а Сталин при Ленине прославился тем, что поставил власть под бумажный контроль (все фиксировалось и все контролировалось). Ленин – это Филипп Филиппович Преображенский. Филипп по-гречески «правитель», а плюс Филиппович – правитель в квадрате. Страсть к борьбе была у Ленина в крови. Лев Каменев – это домоуправ Швондер, яростный и язвительный. Григорий Зиновьев – горничная Зина, ну, а кухарка Дарья – это Дзержинский. Дарья постоянно на кухне, где, «как яростный палач», «острым узким ножом... отрубала беспомощным рябчикам головы и лапки»; «с костей сдирала мясо»; «заслонка с громом отпрыгивала, обнаруживая страшный ад»; «ее лицо... горело мукой и страстью, все, кроме мертвенного носа». После такой живописной картины не трудно понять, что кухня – это Лубянка, а орудующая ножом кухарка – железный Феликс.

Подобных аллюзий и реминисценций в повести много. В том, что профессор Преображенский любит оперу «Аида», – намек на Инессу Арманд. Среди пациентов светила медицины легко угадывается молодящаяся Александра Коллонтай и т. д. Булгаков при помощи своих сатирических персонажей ярко показывает борьбу за власть вокруг умирающего Ленина.

Нам, поздним читателям «Собачьего сердца», уже не важно, кто есть кто. Мы поражены выведенными писателем типами, которые оказались весьма живучими и продолжают жить после падения советской власти. К примеру, Шариков, которому Преображенский бросил обвинение: «Вы стоите на самой низшей ступени развития... и вы... Позволяете себе подавать какие-то советы космического масштаба и космической же глупости...» Иногда послушаешь высказывания отдельных начальников-Шариковых и диву даешься, как жив курилка-шарик до сих пор! А Швондер – тупой и упорный исполнитель властных структур!.. Швондеры и Шариковы – это целая разруха в головах. «Что такое это ваша разруха? – сокрушался профессор Преображенский. – Старуха с клюкой? Ведьма, которая выбила все стекла, потушила все лампы?» Разруха – это паралич логики. Неспособность к созиданию, одни только инстинкты: отобрать и присвоить. А если это банда, то поделить на всех бандитов.

От «Белой гвардии» к «Дням Турбиных»

Идею духовных ценностей Булгаков пытался воплотить в романе «Белая гвардия», однако роман не был закончен, и тогда Булгаков решил переделать его в пьесу. «Дни Турбиных», выражаясь современным языком, стали абсолютным хитом Художественного театра. И не только – еще своеобразной «Чайкой» для второго поколения МХАТа.

19 января 1925 года Булгаков приступил к переделке «Белой гвардии». Работа была мучительной. Писатель перебрал множество вариантов названия – от «Белого декабря» до «Белого бурана». Остановился на тихом семейном названии «Дни Турбиных». Пьеса еще не воплотилась на сцене, а у нее насчитывались десятки противников. Всесильный Луначарский заявил: «Я считаю Булгакова очень талантливым человеком, но эта его пьеса исключительно бездарна... туповатые, тусклые картины никому не нужной обывательщины». Давление ощущалось не только извне, но существовало в самом театре. Шли споры, где ставить новую пьесу – на большой сцене или на малой, кто в ней будет играть. Наконец решили доверить молодежи, и она с блеском оправдала доверие. Блистательно сыграли Николай Хмелев (Алексей Турбин), Марк Прудкин (Шервинский), Михаил Яншин (Лариосик). О последнем Станиславский сказал: «Счастливая игра неповторяющегося случая».

26 марта состоялся первый показ. Константин Сергеевич смеялся, плакал, грыз ногти, сбрасывал пенсне, чтобы вытереть слезы, – такой был ошеломительный эффект булгаковского спектакля.

Затем первая открытая генеральная репетиция, и, наконец, 5 октября – премьера. Публика не просто плакала на спектакле, но буквально рыдала, особенно когда на сцене погибал Алексей Турбин или приносили раненого Николку. Были настоящие истерики и обмороки.

Зрители в восторге, критики – в гневе. Разброс критических высказываний – от показа «белогвардейщины в розовых уютных красках» до проповеди русского фашизма. В Доме печати устроили даже грозное мероприятие «Суд над «Белой гвардией»». Булгаков отчаянно защищался: «...Мне не дают слова! Какой же это суд? У меня есть зрители – вот мои судьи, а не вы! Но вы судите! И пишете на всю страну, а спектакль смотрят только в одной Москве; в одном театре! И обо мне думают те, кто не видел моей пьесы, так, как вы о ней пишете! А вы о ней пишете неправду! Вы искажаете мои мысли! Вы искажаете смысл того, о чем я написал...»

Спектакль в Художественном театре шел с громадным успехом (в иные месяцы по 14 раз) под улюлюканье прессы и под слезы восторга зрителей. Один из критиков назвал «Дни Турбиных» «Вишневым садом» белого движения». Судя по протоколам театра, Сталин смотрел «Дни Турбиных» не меньше 15 раз. И высказал положительную оценку: пьеса работает на большевизм.

«Дни Турбиных» шли на сцене более трех лет. Их несколько раз закрывали, снова разрешали и, наконец, в сентябре 1928-го окончательно запретили, и пьеса пошла вновь лишь в 1957 году в Волгоградском театре, спустя 17 лет после смерти автора.

Легко можно представить, как мучительно переживал Булгаков свои многие попытки пробиться и удержаться на сцене. В автобиографии он с болью констатировал: «В 1925 году... написал пьесу, которая в 1926 году пошла в Московском Художественном театре под названием «Дни Турбиных» и была запрещена после 289-го представления. Следующая пьеса «Зойкина квартира» шла в театре имени Вахтангова и была запрещена после 200-го представления. Следующая – «Багровый остров» шла в Камерном театре и была запрещена приблизительно после 50-го представления. Следующая – «Бег» была запрещена после первых репетиций в Московском Художественном театре. Следующая – «Кабала святош» была запрещена сразу и до репетиций не дошла. Через 2 месяца по запрещении «Кабалы» (в мае

1930 года) был принят в Московский театр на должность режиссера, находясь в которой, написал инсценировку «Мертвых душ» Гоголя...»

Дальше стало легче? Нисколько...

Адвокат интеллигенции

Своей главной задачей в литературе Булгаков считал «изображение русской интеллигенции как лучшего слоя в нашей стране» (из письма в правительство, 1930). В этом своем призвании Булгаков шел за Салтыковым-Щедриным: «Не будь интеллигенции, мы не имели бы понятия о чести, ни веры в убеждения, ни даже представления о человеческом образе».

«Люди выбирают разные пути. Одни, спотыкаясь, карабкаются по дороге тщеславия, другой ползет по тропе унижительной лести. Иные пробираются по дороге лицемерия и обмана. Иду ли я по одной из этих дорог? Нет! Я иду по крутой дороге рыцарства и презираю земные блага, но не честь!» (Булгаков. «Дон Кихот»).

В отличие от многих писателей Серебряного века (Бунин, Бальмонт и т. д.), Булгаков не представлял себя вне родины. «Связавшись слишком крепкими корнями со строящейся советской Россией, не представляю себе, как бы я мог существовать в качестве писателя вне ее».

В телефонном разговоре со Сталиным Булгаков сказал: «Я очень много думал в последнее время, – может ли русский писатель жить вне родины. И мне кажется, что не может».

Разумеется, Булгакову многое не нравилось в устройстве жизни при советской власти. Он критиковал, возмущался и бичевал, но при этом его нельзя назвать откровенным антисоветчиком. В огромном досье ОГПУ-НКВД среди прочих негативных высказываний писателя есть и такое: «Советский строй хороший, но глупый, как бывают люди с хорошим характером, но неумные».

Булгаков хотел честно работать и писать о стране Советов. Но власть в лице чиновников от искусства и руководителей культуры и литературы была резко настроена против Булгакова. В «Литературной энциклопедии» (1929) отмечалось, что революцию Булгаков воспринимал как «роковые яйца», из которых выходят огромных размеров гады, грозящие погубить всю страну. «Булгаков принял победу народа не с радостью, а с великой болью покорности... Булгаков – типичный выразитель тенденций «внутренней эмиграции»... Художественные достоинства? Куда там! «Юмор довольно дешевого газетчика».

Как видим, Булгаков развенчан полностью, но и далее, в 1951 году, согласно БСЭ, Булгаков «не наш», он «клеветнически изображал советскую действительность... идеализировал белогвардейцев... пьесу «Бег» Сталин охарактеризовал как «антисоветское явление»... ошибочные и во многом идейно-чуждые взгляды не дали Булгакову возможности глубоко и верно раскрыть и явления исторического прошлого – пьесы о Мольере и Пушкине...»

Оставим в покое Пушкина, а что Мольер, в чем не разобрался Булгаков? «Поправки тянутся 5 лет, сил больше нет», – писал драматург по поводу «Кабалы святош» («Мольер»). После выматывающих душу проволочек «Мольер» был поставлен и сыгран 7 раз и после статьи в «Правде» «Внешний блеск и фальшивое содержание» (9 марта 1936) был снят. Разгромной статье в «Правде» предшествовало письмо-донос функционера Керженцева на имя Сталина и Молотова о том, что «Мольер» – «это ловко скроенная пьеса в духе Дюма или Скриба, с эффектными театральными сценами, концовками, дуэлями, изменами, закулисными эпизодами, исповедями в католических храмах, заседаниями в подземелье членов «кабалы» в черных масках и т. п.» А далее Керженцев задает вопрос: «А где же Мольер?» Мольер, выведенный Булгаковым, ему явно не нравится, ибо произносит крамольные реплики, вроде такой: «Всю жизнь я ему (королю) лизал шпоры и думал только одно? Не раздави... И вот все-таки раздавил... Я, быть может, Вам мало льстил? Я, быть может, мало

ползал? Ваше величество, где же Вы найдете такого другого блюдолиза, как Мольер? Что я должен доказать, что я червь?» И эта сцена завершается возгласом: «Ненавижу бессудную тиранию!» (репертком исправил: «королевскую»).

В конце письма-разбора Керженцев дает совет: «Поместить в «Правде» резкую редакционную статью о «Мольере» в духе моих замечаний...»

Так варились блюда на кухне, чтобы потчивать ими Булгакова.

Крик души

Отравленный и затравленный Булгаков принимается за инсценировку «Мертвых душ»: «Смотрю на полки и ужасаюсь: кого еще мне придется инсценировать завтра?..» Булгаков не выдержал и 28 марта 1930 года написал письмо правительству. Вот отрывки из этого потрясающего документа:

«...После того как все мои произведения были запрещены, среди многих граждан, которым я известен как писатель, стали раздаваться голоса, подающие один и тот же совет: сочинить «коммунистическую пьесу», а кроме того, обратиться в Правительство СССР с покаянным письмом, содержащим в себе отказ от прежних моих взглядов, высказанных мною в литературных произведениях, и уверения в том, что отныне я буду работать, как преданный идее коммунизма писатель-попутчик. Цель: спастись от гонений, нищеты и неизбежной гибели в финале.

Этого совета я не послушался.

Созревшее во мне желание прекратить мои писательские мучения заставляет меня обратиться к Правительству СССР с письмом правдивым...

...Я доказываю с документами в руках, что вся пресса СССР, а с нею вместе и все учреждения, которым поручен контроль репертуара в течение всех лет моей литературной работы единодушно и с необыкновенной яростью доказывали, что произведения Михаила Булгакова в СССР не могут существовать...

Произведя анализ моих альбомных вырезок, я обнаружил в прессе за 10 лет моей литературной работы 301 отзыв обо мне. Из похвальных было три, враждебно-ругательных 298... Героя моей пьесы «Дни Турбиных» Алексея Турбина печатно называли «сукиным сыном», автора пьесы рекомендовали как одержимого собачьей страстью.

...Главный Репертуарный Комитет воспитывает илотов (рабы в древней Спарте. — Ю. Б.), панегиристов и запуганных «услужующих». Это он убивает творческую мысль. Он губит советскую драматургию и погубит ее...

Борьба с цензурой, какой бы она ни была и при какой власти ни существовала, мой писательский долг, так же как и призывы к свободе печати. Я горячий поклонник этой свободы и полагаю, что если кто-нибудь из писателей вздумал бы доказывать, что она ему не нужна, он уподобился бы рыбе, публично утверждающей, что ей не нужна вода...

Я прошу Правительство СССР приказать мне в срочном порядке покинуть пределы СССР в сопровождении моей жены Любови Евгеньевны Булгаковой... Я обращаюсь к гуманности советской власти и прошу меня, писателя, который не может быть полезен у себя, в отечестве, великодушно отпустить на свободу...

Булгаков предложил власти на выбор: отпустить из страны или дать ему работу, ибо «в данный момент — нищета, улица и гибель».

Мало того, что Булгаков написал официальное письмо в правительство, он еще неофициально, для друзей, сочинил фантастическую историю, как его пригласили в Кремль, а он босой, и Сталин приказал Ягоде снять сапоги и отдать Булгакову. Сапоги Ягоды очень жали, и тогда сапоги пришлось снимать Молотову. «Ну, вот так! Хорошо, — сказал Сталин, обра-

щаясь к писателю. – Теперь скажи мне, что с тобой такое? Почему ты мне такое письмо написал?..»

Это в фантазии, а в реальности 18 апреля 1930 года в квартире Булгакова раздался звонок, и женский голос сказал: «С вами будет говорить товарищ Сталин». Сталин поинтересовался, где хочет работать Булгаков. Писатель ответил: в Художественном театре. Но ему там отказали. Вождь-благодетель тогда сказал: «А вы подайте заявление, – мне кажется, что вас примут».

И Булгакова приняли в театр. Он стал режиссером. В конце 1932 года во МХАТе были поставлены «Мертвые души». Пьеса о Пушкине («Последние дни») в Художественном вышла на сцену лишь в 1943 году. В конце концов со МХАТом Булгаков порывает и уходит в Большой театр на должность либреттиста и пишет 4 оперных либретто («Минин и Пожарский», «Петр Великий», о Михаиле Фрунзе и Гражданской войне и «Рашель» по новелле Мопассана). Но все это, как говорится, не то, и Михаил Афанасьевич отводит душу, сочиняя «Театральный роман».

«Это приступ неврастении, – объяснил я кошке, – и она уже завелась во мне, будет развиваться и сглохнет меня. Но пока еще можно жить» («Театральный роман»).

Последние годы

Удары судьбы сыпятся на Булгакова один за одним. В издательстве в серии ЖЗЛ забраковали книгу о Мольере, на том основании, что автор не марксист, к тому же «страдает любовью к афоризмам и остроумию». Булгаков написал комедию «Блаженство» для Театра сатиры – не получилось блаженства, и тогда он переделал ее в «Ивана Васильевича», но опять не увидел свое творение при жизни.

Но главное, пожалуй, фиаско Булгаков потерпел при создании пьесы «Батум» (1939) о молодом Сталине, о его революционном прошлом. Писал Булгаков не по заказу, а от себя. Дело в том, что между Сталиным и Булгаковым существовала какая-то тайная мистическая связь: вождя интересовала личность Булгакова и то, что и как он пишет, а Булгакова притягивала к себе сильная, почти демоническая фигура Сталина. И мимо Булгакова не прошло то обстоятельство, что на спектакле «Дни Турбиных» Сталин аплодировал больше всех. А потом это странное телефонное общение с вождем и его почти кокетливый вопрос: «Что, мы вам очень надоели?»

Многие исследователи Булгакова считают, что Булгаков почти 10 лет очень хотел лично поговорить со Сталиным, повести с ним диалог по важнейшим темам и с трепетом ждал разговора-встречи. Но так и не дождался: Сталину такой разговор, очевидно, был не нужен, ему было просто интересно наблюдать, как мучается Булгаков со своими произведениями. И он наверняка не хотел, чтобы после Маяковского и Булгаков свел счеты с жизнью.

Пьеса «Батум» была в некотором роде попыткой Булгакова поближе прикоснуться к истокам Сталина. Пьеса анонсировалась и уже готовилась к постановке в нескольких провинциальных театрах. Булгаков выехал на юг собирать дополнительные материалы, а уже в поезде ему вручили правительственную телеграмму, что пьеса не пойдет на сцене. Маленький курьез: почтальон ходил по купе и спрашивал, а где бухгалтер? Булгаков понял мгновенно: нужен не бухгалтер, а Булгаков. Этот удар стал для Булгакова последним. Он стал терять зрение, резко обострилась наследственная болезнь почек, от которой он уже не оправился.

В последний свой год Михаил Булгаков выпадает из поля общественного внимания и остается автором одной привлекательной, но «старорежимной» пьесы. Все остальное написанное им не востребовано. Быстро теряющий здоровье Булгаков, выражаясь метафорически, затягивается ряской забвенья еще при жизни.

Но писатель не сдается. Осенью 1939 года ему становится совсем плохо. Он знал, что умрет, и в свою последнюю зиму – уже почти не видя, почти не подымающийся с постели, – он работал над своим «последним закатным романом» – «Мастер и Маргарита». Булгаков писал его много лет и торопился его закончить.

«Боги, боги мои! Как грустна вечерняя земля! Как таинственны туманы над болотами! Кто блуждал в этих туманах, кто много страдал перед смертью, кто летел над этой землей, неся в себе непосильный груз, тот это знает. Это знает уставший. И он без сожаления покидает туманы земли, ее болотца и реки, он отдается с легким сердцем в руки смерти, зная, что только она одна успокоит его».

В предисловии к роману (а он вышел в 1966 году в журнале «Москва») Константин Симонов написал: «Есть в этой книге какая-то безрасчетность, какая-то предсмертная ослепительность большого таланта, где-то в глубине души чувствующего краткость оставшегося ему жизненного пути».

Елена Булгакова вспоминала, как в 1939 году у них в доме часто собирались друзья, в основном артисты. «Мы сидели весело за нашим круглым столом, у Михаила Афанасьевича появилась манера вдруг, среди самого веселья, говорить: «Да, вам хорошо, вы будете жить, а я скоро умру». И он начинал говорить о своей предстоящей смерти. Причем говорил до того в комических, юмористических тонах, что первая хохотала я. А за мной и все, потому что удержаться нельзя было. Он показывал это вовсе не как трагедию, а подчеркивал все смешное, что может сопутствовать такому моменту...»

Уход

Свой нефросклероз Булгаков принял как неизбежное. В конце болезни Михаил Афанасьевич потерял зрение и речь.

10 марта 1940 года Булгаков умер. В 16 часов 39 минут. Он прожил 48 лет и 10 месяцев. Тело Булгакова кремировали, а похоронили писателя на территории того самого Новодевичьего монастыря, вид на который открывался Мастеру с Воробьевых гор. Похоронили в непосредственной близости от Станиславского, Чехова и Гоголя.

Анна Ахматова откликнулась на смерть Булгакова:

Вот это я тебе, взамен могильных роз,
Взамен кадильного куренья;
Ты так сурово жил и до конца донес
Великолепное прозренье.
Ты пил вино, ты как никто шутил
И в душных стенах задыхался,
И гостью страшную ты сам к себе впустил
И с ней наедине остался.
И нет тебя, и все вокруг молчит
О скорбной и высокой жизни,
Лишь голос мой, как флейта, прозвучит
И на твоей безмолвной тризне...

Мрачные строки о мрачной жизни. А вот иного мнения придерживалась Елена Сергеевна Булгакова, последняя жена писателя, в интервью театральному журналу (1987 год) она сказала: «Вот я хочу вам сказать, что, несмотря на все, несмотря на то, что бывали моменты черные, совершенно страшные, не тоски, а ужаса перед неудавшейся литературной жизнью, но если вы мне скажете, что у нас, у меня, была трагическая жизнь, я вам отвечу: нет! Ни

одной секунды. Это была самая светлая жизнь, какую только можно себе выбрать: самая счастливая. Счастливее женщины, какой я тогда была, не было...

Удивительные слова о жизни Мастера и Маргариты.

Три Маргариты мастера

А теперь самое время поговорить о женщинах Булгакова. Рискну читателям предложить главку из собственной книги «Налог на любовь» (1999). Итак:

«– Вы были женаты?

– Ну да, вот же я и шелкаю... На этой... Вареньке, Манечке... нет, Вареньке... еще платье полосатое... музей... впрочем, я не помню...» – так в великом романе Михаила Булгакова Мастер пытается вспомнить свою официальную личную жизнь до встречи с Маргаритой.

Со своей будущей женой – Татьяной Лаппа (все звали ее Тасей) – Булгаков познакомился летом 1908 года в Киеве, куда она приехала из Саратова на каникулы. Михаилу было 17, Тасе – 15 лет. Когда через год ее решили отправить на каникулы в Москву, Булгаков совсем потерял голову.

«Вдруг из Киева приходит телеграмма: «Михаил стреляется...» – вспоминала она. Отец вызвал меня: «В чем дело?» – «А я почему знаю?» Меня заперли на ключ. И Михаила из Киева не пустили».

В 1911 году они решили соединить свои судьбы. Булгаков – студент-медик. Тася выбрала историко-филологическое отделение. Свадьба состоялась 26 апреля 1913 года по старому стилю. Пили шампанское...

В 1916 году Булгаков закончил университет и после непродолжительной работы во фронтовых госпиталях был направлен земским врачом сначала в Вязьму. Он все более уходил в себя, одно время даже увлекся морфием. В 1920 году он хотел и не смог уйти с белыми в Константинополь: его свалил тиф. Это было трудное и жестокое время. Татьяна Николаевна отрубала кусочки из золотой цепочки и покупала на них дрова и печенку. В 1921 году в Батуме они продали самое последнее – обручальные кольца, сделанные в ювелирной лавке Маршака в Киеве.

Попытка эмигрировать не удалась. Булгаков решил начать новую жизнь в Москве. По воспоминаниям Валентина Катаева: «Жена синеглазого – Татьяна Николаевна – была добрая женщина и воспринималась нами, если не как мама, то, во всяком случае, как тетя». А вот «теть», наверное, долго не любят.

«Мы развелись, – вспоминала Татьяна Лаппа. – Булгаков присылал мне деньги или сам приносил. Он довольно часто заходил. Однажды принес «Белую гвардию», когда напечатали. И вдруг я вижу – там посвящение Белозерской. Так я ему бросила эту книгу обратно. Сколько ночей я с ним сидела, кормила, ухаживала... он сестрам говорил, что мне посвятит...»

Не посвятил. Был очарован уже другой, – бывает и так. Другая – это Любовь Евгеньевна Белозерская. Топсон, Любан, Любания, Любаша – так звал ее Булгаков, а она его – Мака. Это была женщина совсем другого типа, чем Татьяна Лаппа, красивая, светская, разбирающаяся в литературе и сама умеющая писать.

Слово Белозерской: «Нас познакомили. Передо мной стоял человек 30–32 лет, волосы светлые, гладко причесанные на косой пробор. Глаза голубые, черты лица неправильные, нос зри глубоко вырезаны, когда говорит, морщит лоб. Но лицо, в общем, привлекательно. Лицо больших возможностей...»

«Любовь выскочила перед ними, как из-под земли выскакивает убийца в переулке...» – эту фразу из «Мастера и Маргариты» вполне можно отнести к их случайной встрече.

Булгаков и Белозерская поженились 30 апреля 1925 года. После долгих скитаний по коммунальным квартирам они обрели трехкомнатную квартиру на Большой Пироговской, которую оформили так, как хотели: кабинет был синим, столовая – желтой, комната Белозерской – белой.

Вместе они прожили 8 трудных и счастливых лет. Булгаков посвятил второй жене роман «Белая гвардия», повесть «Собачье сердце», пьесу «Кабала святош».

Судя по всему, Белозерская не была Маргаритой. Она источала тепло и дружелюбие и скорее была «душечка», а Булгакову была нужна «вечно возлюбленная». Они расстались. Белозерская после расставания поработала секретарем у писателя Вересаева и у академика Тарле. В Америке вышла ее книга «О, мед воспоминаний». «Мы часто опаздывали и всегда торопились, – вспоминала она жизнь с Булгаковым. – Иногда бежали за транспортом. Но Михаил Афанасьевич неизменно приговаривал: «Главное, не терять достоинства».

В воспоминаниях Белозерской представлена лишь высветленная праздничная сторона ее жизни с Булгаковым: премьеры, свадьбы друзей, веселые розыгрыши, домашний быт с любимой собакой Бутон. А между тем как раз в эти годы (1925–1932) Булгакову было невозможно тяжело как писателю: его травили в прессе («литературный уборщик», «посредственный богомаз», «новобуржуазное отродье»). Особенно страшным для Михаила Афанасьевича стал 1929-й: все его пьесы были сняты со сцены. Всеволод Вишневский прилюдно цитировал фразу Сталина: «Наша сила в том, что мы и Булгакова приучили на нас работать».

Однажды Алексей Толстой в шутку сказал Булгакову, что писатель для достижения литературной славы должен жениться трижды. Третьей женой Булгакова стала Елена Шиловская (урожденная Нюрнбург), которая, в отличие от первых жен, взяла его фамилию. С ней Булгаков совершил, как он выразился, «свой последний полет».

«Я интересовалась им давно, – вспоминала Елена Сергеевна. – С тех пор как прочитала «Роковые яйца» и «Белую гвардию». Я почувствовала, что это совершенно особый писатель... необычность языка, взгляда, юмора – всего того, что, собственно, определяет писателя. Все это поразило меня».

Тут следует заметить, что Елена Сергеевна сама хорошо владела пером и превосходно переводила с французского, в частности Жюль Верна и Андре Моруа. Ну, а в талант Булгакова верила непоколебимо.

Полюбив Булгакова, Елена Сергеевна оказалась перед труднейшей дилеммой, как быть со своей хорошей и дружной семьей, разрушать или нет?... «В первый раз я смалодушничала и осталась, и я не видела Булгакова 12 месяцев, давши слово, что не приму ни одного письма, не подойду к телефону, не выйду одна на улицу, – вспоминала она. – Но, очевидно, все-таки это была судьба. Потому что когда я первый раз вышла на улицу, то я встретила его, и первой фразой, которую он сказал, было: «Я не могу без тебя жить». И я ответила: «И я тоже». И мы решили соединиться, несмотря ни на что...»

Свой брак они зарегистрировали 4 октября 1932 года. Елена Сергеевна стала для писателя не только любящей женой, но и активным помощником: вела деловую переписку, перепечатывала произведения, заключала договоры, получала по этим договорам деньги, хотя последние были весьма скудные...

Новая любовь всколыхнула Булгакова, и, кто знает, возможно, она дала ему силы пережить все беды и несчастья, которые обрушились на него. Он продолжал создавать «Театральный роман» и великую книгу «Мастер и Маргарита». Елена Сергеевна неизменно поддерживала, берегла, вдохновляла Булгакова и даже вела по его настоянию дневник (сам писатель после изъятия дневника во время обыска в 1926 году дал себе слово никогда не вести личные записи).

Когда они решили соединить свои жизни, Булгаков сказал ей: «Дай мне слово, что умирать я буду у тебя на руках». Елена Сергеевна ответила: «Конечно, конечно, ты будешь умирать у меня на...» Булгаков сказал: «Я говорю очень серьезно, поклянись». Она поклялась.

Также Елена Сергеевна поклялась за несколько дней до смерти Булгакова, когда он еле выговорил слово «Мастер...», что обязательно напечатает роман «Мастер и Маргарита». Хотя в 1940 году это выглядело совсем нереально, и даже заядлые оптимисты утверждали, что если такое чудо и произойдет, то не раньше как через сто лет.

В ноябре 1966 года, через 26 лет, в журнале «Москва» началась публикация романа. И это было чудом. Роман поразил всех своим художественным совершенством, ясностью духа и горьким пониманием бедствий сталинской эпохи.

Если возвращаться к теме последних месяцев жизни Булгакова, то в одном из писем сестра Елены Сергеевны писала: «...Но самые черные его минуты она одна переносит, и все его мрачные предчувствия она выслушивает и, выслушав, все время находится в напряженнейшем желании бороться за его жизнь. «Я его люблю, – говорит она, – я его вырву для жизни». Она любит его так сильно, что непохоже на обычное понятие любви между супругами, прожившими уже немало годов вместе, стало быть, вроде как привычными друг к другу и переведшими любовь в привычку...»

После смерти Булгакова Елене Сергеевне жить было не на что. Она работала машинисткой. Выйдя на пенсию, занималась переводами (переводила, в частности, Жорж Санд). И ее постоянно досаждали исследователи творчества Михаила Афанасьевича. Где они были раньше?..

Раньше были одни хулители. Ныне одни восхвалители. Такова судьба Михаила Булгакова. Года четыре назад вышла «сенсационная» книжка одного автора под названием «Булгаков и Маргарита». Главная мысль в ней: Булгаков не слишком любил своих жен. Любил – не любил? – какое поле для необузданных фантазий. Нужно сесть на метлу и воспарить вместе с Маргаритой...

Есть еще тема: Маргариты в кино. Но ее, пожалуй, обойдем. Пора приступить к последней главке.

Эпилог

Сегодня на Булгакова, если не бум, то что-то около этого. Любознательные и любопытные идут к булгаковскому дому на Большой Садовой, чтобы ощутить дух «нехорошей квартиры» (мало им нехорошего района, города и страны). И на стенах примечательного дома начертаны разные слова и фразы:

«Что есть истина?»

«Помните судьбу Михаила Афанасьевича».

«Воланд, приезжай, слишком много дряни развелось».

«Какие вы счастливые, что не знаете, какие мы несчастные!»

«Остановите Землю, я выйду!»

Странно то, что иных в Булгакове притягивает именно нечистая сила, образ Воланда, как будто все вдруг уверовали в «седьмое доказательство, что дьявол существует».

Точно можно сказать, что существует Власть. Помните, Иешуа в романе «Мастер и Маргарита» говорит: «... всякая власть является насилием над людьми и что настанет время, когда не будет власти ни кесарей, ни какой-либо иной власти. Человек перейдет в царство истины и справедливости, где вообще не будет надобна никакая власть». На что Понтий Пилат восклицает: «На свете не было, нет и не будет никогда более великой и прекрасной для людей власти, чем власть императора Тиверия!»

Император Тиверий – Иван Грозный – Наполеон Бонапарт – Иосиф Сталин – ВВП – Муамар Каддафи и прочие правители, диктаторы, тираны, злодеи. Именно власть всегда решает, как жить и творить Мастеру, как жить и любить Маргарите. Мастер и Маргарита постоянно оказываются в качестве пленников и жертв большой и всесокрушающей власти. И это прекрасно отражено Булгаковым в его романе.

У «Мастера и Маргариты» было 8 редакций. Что-то из булгаковского текста пропало, что-то сняла сама Елена Сергеевна, и кто-то еще приложил редакторско-карающую руку. И пропал в итоге один булгаковский пассаж, в котором сошедший с ума поэт Иван Бездомный ломится в ворота Кремля и кричит: «Здесь завелась нечистая сила!» Это крамольное местечко по соображениям цензуры было снято. Но остался вопрос, где обитает эта проклятая черная сила?..

Оставим эту тему, и что делать бедному Мастеру? «Не надо задаваться большими планами, дорогой сосед, – говорил Мастер. – Я вот, например, хотел объехать весь земной шар. Но, что же, оказывается, не суждено. Я вижу только незначительный кусок этого шара. Думаю, что это не самое лучшее, что есть на нем, но, повторяю, это не так уж худо...»

Сам Михаил Афанасьевич ставил и громоздил куда большие планы. На то он и Булгаков.

Искусство выживания. Илья Эренбург (1891–1967)



Илья Григорьевич Эренбург прожил феерическую по числу событий и их накалу жизнь. «Вся жизнь протекала в двух городах – в Москве и Париже. Но я никогда не мог забыть, что Киев – моя родина», – признавался Эренбург. Он родился в Киеве 14 (27) января 1891 года. Жил в Москве. В Париж приехал в 17 лет. Как вспоминал Максимилиан Волошин: «Я не могу себе представить Монпарнас времен войны без фигуры Эренбурга. Его внешний облик как нельзя более подходит к общему характеру духовного запустения. С болезненным, плохо выбритым лицом, с большими, нависшими, неуловимо косящими глазами, отяжелелыми семитскими губами, с очень длинными и очень прямыми волосами, свисающими несуразными космами, в широкой фетровой шляпе, стоящей торчком, как средневековый колпак, сгорбленный, с плечами и ногами, ввернутыми внутрь, в синей куртке, посыпанной пылью, перхотью и табачным пеплом, имеющий вид человека, «которым только что вымыли пол», Эренбург настолько «левобережен» и «монпарнасен», что одно его появление в других кварталах Парижа вызывает смуту и волнение прохожих...»

Таков был портрет молодого Эренбурга. Он выступал вначале как эстет и поэт, делая «зигзаги между эстетством, лирической идиллией и натуралистическим цинизмом». Но в дальнейшем приобрел куда более respectable имидж серьезного писателя и маститого публициста.

В зрелые годы Эренбург стал еще и литературным Колумбом, открывателем неведомых для целого поколения советских людей земель и островов. Именно Эренбург «открыл» и добился возвращения многих вычеркнутых имен, таких как Мандельштам, Бабель и Марина Цветаева. Благодаря Эренбургу многие читатели познакомились с творчеством Хемингуэя и Фолкнера, увидели выставку работ Пабло Пикассо, прочитали «Дневник» Анны Франк. Воспоминания Эренбурга «Люди, годы, жизнь» расширили горизонты советской литературы. Горизонты эти могли быть и более глубокими, если бы не цензура.

Изданный восьмитомник Эренбурга тоже неполный: Эренбург написал значительно больше того, что вошло в его собрание сочинений. Одна только публицистика потрясает: за 1418 военных дней Илья Григорьевич написал почти 2 тысячи пламенных, обжигающих заметок и статей («Победа не падает с неба, победу строят – камень за камнем»). Эренбург

люто ненавидел Гитлера и фашизм, за что фюрер обещал повесить писателя в Москве на Красной площади.

Эренбург обладал поистине золотым пером, был страстным публицистом, мастеровитым романистом, но в душе он считал себя именно поэтом. Польский писатель Ярослав Ивашкевич писал про Эренбурга: «Считая себя поэтом, он разменял – ибо считал это своим гражданским долгом – золотые цимбалы на пращу, которой разил филистимлян, как внешних врагов своей родины, так и внутренних...» И между тем лирика Эренбурга изящна, точна и иронична.

В одежде гордого сеньора
На сцену выхода я ждал,
Но по ошибке режиссера
На пять столетий опоздал.
Влача тяжелые доспехи
И замедляя ровный шаг,
Я прохожу при громком смехе
Забавы жаждущих зевак...

Кто-то смеялся, а кто-то аплодировал... Подумать только: в 1917–1918 годах (считайте: «пять столетий» назад) Эренбург выступал на поэтических вечерах вместе с Буниным, Ходасевичем и Маяковским.

Но так получилось, что Эренбург не стал «чистым» поэтом. Его натура была слишком деятельна, чтобы оставаться в созерцательной позиции поэта. Эренбург жаждал подвигов, увлекся революцией и даже посидел в тюрьме. Однако литература оказалась значительно интересней революции. Революционное насилие не стало идеалом для Эренбурга. Его захватила идея человеческой справедливости. «Еще подростком меня привлекала справедливость, – писал Эренбург. – Человеку, если он не находится в состоянии богатого и всемогущего борова, свойственно связывать личное счастье со счастьем соседей, всего народа, с человечеством. Это не риторика, а естественное чувство человека, не заплывшего жиром и не ослепленного манией своего величия...»

Эренбург не стал революционером, он стал литератором. Его первый сборник стихов вышел в 1910 году. Затем наступили годы активной журналистики. В 1921 году в голландском городе Остенде за 28 дней Эренбург написал «Необычайные похождения Хулио Хуренито и его учеников» – роман, который принес ему европейскую известность и одновременно вызвал гнев советской критики. Свыше 30 лет роман не переиздавался, и все потому, что Эренбург оценивал нарождающееся советское общество как антигуманное. Писатель умело распознал ростки тоталитаризма.

В 1923 году Эренбург написал «Жизнь и гибель Николая Курбова» – повесть о карьеристах в органах ЧК. В 1928 году уже в Париже вышел роман «Бурная жизнь Лазики Ройтшванца», который был опубликован в СССР лишь в 1989 году, да и то в журнале «Звезда».

По возвращении в Советский Союз Эренбургу пришлось поумерить свою фантазию и свой разоблачительный реализм, унять буйство стиля и начать писать в духе, близком к соцреализму.

Романы «Падение Парижа» (1941) и «Буря» (1947) были удостоены Сталинских премий. Но это были, по существу, проходные, а вот повесть «Оттепель» (1954) стала знаковым явлением в литературе и жизни. Это была первая антикультовая книга о советских временах. Фенологическому понятию «оттепель» Эренбург придал общественно-политический смысл.

Не повезло, увы, «Черной книге», написанной Эренбургом в соавторстве с Василием Гроссманом. В нее вошли дневники, письма, рассказы случайно уцелевших жертв или свидетелей на оккупированной территории. Книга-документ оказалась неугодной власти, и ее набор был рассыпан.

Тяжелая, но все же счастливая судьба оказалась у книги Эренбурга «Люди, годы, жизнь» (1960–1965).

Разбирать и анализировать произведения Эренбурга оставим литературоведам. Лучше обратим внимание на жизнь самого Ильи Григорьевича, которая сложилась противоречиво и бурно. Борис Слуцкий утверждал, что Эренбург «был почти счастливый человек. Он жил, как хотел (почти). Делал, что хотел (почти). Писал, что хотел (почти). Говорил – это уже без «почти», – что хотел. Сделал и написал очень много. КПД его, по нынешним литературным временам, очень велик».

Выходит, схвативший удачу за хвост. Увы, не все так просто. С одной стороны, Эренбург являлся писателем, обласканным властью (точнее говоря, в определенный период). Но, с другой стороны, его постоянно критиковали и кусали критики и коллеги по перу, навешивали на него ярлыки – от «попутчика» до «врага» (можно вспомнить и определение Гитлером Эренбурга как «сталинского придворного лакея»). Советские писатели не признавали стиль Эренбурга, ругали за подражание французам, выделяли в его романах «одну публицистику» и т. д. То есть Эренбург стилистически не совпадал с советскими писателями и уж совсем не годился на роль барабанщика и горниста.

«В чем же были правы критики? – задавался вопросом Эренбург и отвечал так: – Да в том, что по своему складу я вижу не только хорошее, но и дурное. Правы и в том, что я склонен к иронии». Действительно, стиль Эренбурга – это сочетание лиризма и иронии. И еще: он очень афористичен.

Особенно досталось писателю в годы борьбы с «безродным космополитизмом». «Пора понять Эренбургу, – выговаривали патриотически настроенные коллеги, – что он ест русский хлеб, а не парижские каштаны».

Во времена Хрущева писателю ставили в вину его защиту абстракционизма и формализма. «Товарищ Эренбург, – говорил Никита Сергеевич с трибуны, – совершает грубую идеологическую ошибку; и наша обязанность помочь ему это понять...»

Вот и получается странный счастливый человек, удачник, которого все время учили и шпыняли, ставили на правильный путь, а он сопротивлялся и гнул свою линию. Сам Эренбург писал по этому поводу:

Не был я учеником примерным
И не стал с годами безупречным...

Да, Эренбург верил в свои заветы. А у власти были другие идеалы и ценности. И поэтому Эренбург почти всегда был «не наш человек».

Его отношения со Сталиным? «Я не любил Сталина, – признавался Илья Григорьевич, – но долго верил в него, и я его боялся...»

В 1949 году писателя перестали печатать, и каждую ночь он ждал звонка в дверь и ареста. Но... пронесло! Пронесло в 30-е годы. Не взяли в 40-е. Один молодой писатель задал Эренбургу интересующий всех вопрос: «Скажите, как случилось, что вы уцелели?»

«Что я мог ему ответить? – размышлял Эренбург в своих мемуарах. – То, что я теперь написал: «Не знаю». Будь я человеком религиозным, я, наверное, сказал бы, что пути господни неисповедимы. Я жил в эпоху, когда судьба человека напоминала не шахматную партию, а лотерею».

Оппоненты Эренбурга начисто отвергли теорию случайной лотереи, они запустили другой термин: «искусство выживания», мастером которого якобы был писатель. Отчасти можно с этим согласиться: да, Эренбург умел выживать. С одной стороны, он служил режиму, но одновременно, с другой стороны, его покусывал и критиковал. На большее смелости не хватало. Он не был самосожженным. Не тот тип. Подчас он умело приспосаблился, мимикрировал, недаром в романе «Лето 1925 года» он признавался: «Мои годы напоминают водевиль с переодеваниями». Но Эренбург, еще раз подчеркну, никогда не был трубачом власти. Не случайно вышедшую не так давно книгу о писателе гарвардский стипендиат Джошуа Рубинштейн назвал «Запутанная лояльность». Я бы добавил: затуманенная...

«Было в жизни мало резеды, много крови, пепла и беды», – писал Эренбург. Не следует забывать, что у Эренбурга был еще один страшный «грех»: он был евреем. Еврей, интеллигент и западник – гремучее сочетание. Патриоты изощрялись:

Дико воет Эренбург,
Одобрят Инбер дичь его.
Ни Москва, ни Петербург
Не заменят им Бердичева.

Эренбург отвечал своим недругам так: «Меня связывают с евреями рвы, где гитлеровцы закапывали в землю старух и младенцев, в прошлом реки крови, в последующем злые сорняки, проросшие из расистских семян, живучесть предубеждений и предрассудков... Я – еврей, пока будет существовать на свете хотя бы один антисемит».

Эренбург надеялся, что «на темном гноище, омытом кровью нашей, рождается иной, великий век». И в этой надежде на лучшее будущее писателю помогало искусство, которое он любил, обожал и был ему предан все сердцем и душой.

Прошу не для себя, для тех,
Кто жил в крови, кто дольше всех
Не слышал ни любви, ни скрипок,
Ни роз не видел, ни зеркал,
Под кем и пол в сенях не скрипнул,
Кого и сон не окликал.
Прошу до слез, до безрассудства,
Дойдя, войдя и перейдя,
Немного смутного искусства
За легким пологом дождя.

А еще Эренбург любил Францию (как носительницу высокой культуры?)

«Во Франции два гренадера...»
Я их, если встречу, верну.
Зачем только черт меня дернул
Влюбиться в чужую страну...

И тут – никуда не денешься – возникает тема: Эренбург и женщины. «Моя первая любовь, – вспоминает Эренбург, – осень 1907 года, гимназистка Надя. Почти каждый день мы писали друг другу длиннейшие письма, с психологическим анализом наших отношений, с упреками и клятвами, письма ревнивые, страстные и философические. Нам было по 16 лет...»

Затем 48 счастливых лет совместной жизни с художницей Любовью Михайловной Козинцевой. Брак был на западный манер: Эренбург не скрывал от супруги любовные увлечения, а их было немало, в том числе иностранных: Шанталь Кенвил, Эдвиг Зоммер, Лизелотта Мэр. С последней Эренбург ознакомился в Стокгольме на Всемирном конгрессе сторонников мира. Ему – 59, ей – 29. Участвуя в «Движении за мир», Илья Григорьевич свободно разъезжал по Европе, минуя «железный занавес», и, конечно, встречался с Лизелоттой. «Искусство выживания» и искусство встреч?..

В августе 1967 года Эренбург упал в своем саду. Думали, что он поскользнулся. Но это был инфаркт. Лечить писателя оказалось трудным делом. «Очень неконтактный пациент, – говорил известный врач-кардиолог. – Он сказал мне, что напоминаю ему доктора из комедии Мольера».

31 августа Ильи Григорьевича не стало, он скончался в возрасте 76 лет. Как сказал Леонид Зорин, с Эренбургом ушел от нас «осенний европеизм с его обаянием, с его усталостью, с его готовностью быть лояльным...»

В одном из сонетов Эренбург писал, что в его жизни живительно только искусство:

Одно пятно, стихов одна строка
Меняют жизнь, настраивают душу.
Они ничтожны – в этот век ракет
И непреложны – ими светел свет...
Все нарушал, искусства не нарушу.

Эренбург и не нарушал. Судьба вручила ему золотое перо, и он умело им пользовался. «Одна строка...» Это не всем дано.

Перо, штык и любовь. Владимир Маяковский (1893–1930)

*И вот,
громадный,
горблюсь в окне,
плавлю лбом стекло окошечное.
Будет любовь или нет?
Какая —
большая или крошечная?*

В. Маяковский. Облако в штанах



I

О Маяковском написаны горы книг и статей. Но короче всех о нем сказал вождь: «Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи». Еще бы! Владим Владимыч уверовал в «социализма великую ересь» и, уверовав, мгновенно увидел «в звездах пятиконечных небо безмерного свода РКП». И он стал по велению сердца первым придворным поэтом эпохи построения социалистического общества. Бунтарь-одиночка добровольно пошел на службу...

О Маяковском, «агитаторе, горлане-главаре», мы слышаны с раннего детства. Его революционные стихи впитывали в себя с молоком матери: и «товарищ маузер», и «Ленин — фотографией на белой стене», и «молоткастый, серпастый советский паспорт» и т. д. Целый цитатник. Красная книжечка, где в роли Мао выступает Маяковский и постоянно изрекает: «И жизнь хороша, и жить хорошо».

Безвременно ушедший от нас талантливый Юрий Карабчиевский в своем исследовании «Воскресение Маяковского» предупреждал: «Маяковского сегодня лучше не трогать. Потому что все про него понятно, потому что ничего про него не понятно».

И все же рискнем. Расскажем о Маяковском как о частном человеке. О его любовных устремлениях. Об отношениях с женщинами. О любви «большой и крошечной».

Сам Маяковский говорил, что это – «тема и личная и мелкая». Но при этом явно кокетничал. Для него любовь была темой, если не номер один (вначале была партия, а потом любовь), то уже второй – точно. По свидетельству Эльзы Триоле, достаточно хорошо знавшей поэта, «женщины занимали в жизни Маяковского много места».

А вот признание самой Лили Брик, главной героини в жизни Маяковского. После смерти поэта она говорила Лидии Гинзбург: «Ося должен написать для последнего тома биографию Володи. Это страшно трудно. У Володи не было внешней биографии: он никогда ни в чем не участвовал. Сегодня одна любовная история, завтра другая – это его внешняя биография».

Вот так припечатала Владимира Владимыча Лилия Юрьевна. Да и звала его она часто прелюбопытно уничижительно: «маленький громадик».

II

Итак, «маленький громадик».

Ведь для себя не важно
и то, что бронзовый,
и то, что сердце – холодной железкою.
Ночью хочется звон свой
спрятать в мягкое,
женское.

Маяковскому – 20 лет. Он высок. Красив. Громоподобен. И устремлен навстречу первой любви. Со своей первой любовью Маяковский познакомился в Одессе во время турне футуристов по России. Машенька Денисова. Прелестная девушка. Редкое обаяние. Занималась скульптурой и сочувствовала революционным идеям.

Вы думаете, это бредит малярия?
Это было,
Было в Одессе.
«Приду в четыре», – сказала Мария.
Восемь.
Девять.
Десять.

Так начинается первая главка из тетраптиха «Облако в штанах». В ней и во всех дальнейших стихах Маяковского проявилась ориентация лирики на собственную фотографию. Не лирический герой действует в стихах, а сам поэт Владимир Маяковский. Соответственно и детали. В «Облаке» это конкретная Мария. Конкретный город. Точные часы ожидания свидания.

В Марию Маяковский влюбился безоглядно. Страстно. Не находил себе места. Метался по номеру гостиницы.

Нервы —
большие,
маленькие,

многие! —
скачут бешеные,
и уже
у нервов подкашиваются ноги!

Любовь-вулкан. Любовь-извержение. Любовь — огненная лава. Таким был Маяковский: у него все было большим, громадным, гиперболическим. Выходящим из берегов всех традиций и условностей. Любовь без правил.

Мария, хочешь такого?
Пусти, Мария!
.....
В раздетом бесстыдстве,
в боящейся дрожи ли,
но дай твоих губ неисцветшую прелесть...

И напрямую —

Мария — дай!
.....
Мария —
не хочешь?
Не хочешь!

Старая-престарая история: он хотел, она не хотела. Он любил, она нет. Ну, что ж, очевидно, у Марии были свои основания для того. Свои причины. Резоны. А Маяковский не хотел этого понимать и безумствовал, сходил с ума и переплавлял свою сердечную боль в обжигающие строки стихов.

Вы говорили:
«Джек Лондон,
деньги,
любовь,
страсть», —
а я одно видел:
вы — Джиоконда,
которую надо украсть!

И украли...

Джиоконду-Марию украл другой человек. Маяковскому Мария не досталась. Будучи человеком весьма эгоцентрическим (Маяковский называет себя даже «тринадцатым апостолом»), Владим Владимыч обращается в стихах со своими обидами непосредственно к «господину богу» (слово «бог» он пишет, конечно, с маленькой буквы):

Всемогущий, ты выдумал пару рук,
сделал,
что у каждого есть голова, —
отчего ты не выдумал,
чтоб было без мук

целовать, целовать, целовать!

Ну, и далее поэтический бурлеск в стиле Маяковского: бог – не «вселенский божище», а «недоучка, крохотный божик». И вообще,

Небо!
Снимите шляпу!
Я иду!

Очень характерно для Маяковского. Что там друзья-товарищи. Соседи. Люди. Они ведь «ничего не понимают». Поэтому он один на один с мирозданием. Звезды, расступитесь! Бог – по боку! «Я иду». «Чудотворец всего». А что дальше?

Милостивые государи,
хотите —
сейчас перед вами будет танцевать
замечательный поэт?

Это уже строки из трагедии «Владимир Маяковский». А если вернуться к одесским любовным переживаниям, описанным в «Облаке», то самое интересное, что поэма о Марии посвящена другой женщине: «Тебе, Лиля». Тоже надо сказать, поворотец!

Ну, а как же Мария?

Вошла ты,
резкая, как «нате!»,
муча перчатки замш,
сказала:
«Знаете —
я выхожу замуж».

Правда, на самом деле Мария Денисова не тогда вышла замуж, а позднее. Но Маяковский, как истинный поэт, предвидел этот роковой для себя исход. Бездарный, с «обугленным поцелуишком». Что касается Денисовой, то она с мужем эмигрировала в Швейцарию. В 1919 году вернулась в революционную Россию с маленькой дочкой, но без мужа. Вернулась как большевичка. Служила политработником в Первой Конной. За храбрость в боях получила наган и кожаную куртку. Стала женой одного из героев Гражданской войны Ефима Щаденко. И, очевидно, не раз слышала выступления Маяковского. Только это уже были не стихи про несчастную любовь, а революционные, жизнеутверждающие строки, написанные в стиле напominаний-приказов: «Помни марш атакующей роты» или «Кто там шагает правой?левой!левой!левой!»

III

В том же 1913 году, когда Маяковский был в состоянии раскаленной «этакой глыбы», которой «много хочется», состоялось другое знакомство, с сестрами Каган – сначала с младшей Эльзой, а затем со старшей Лили, которая была замужем за Осипом Бриком и носила его фамилию.

После несчастной любви Маяковский, как и предполагал в «Облаке».

Опять влюбленный выйду в игры,
огнем озаряя бровей загиб.

Вот он вышел и осенью 1913 года попал в квартиру Хвасовых, где познакомился с Эльзой, будущей русско-французской писательницей Эльзой Триоле (1896–1970).

Воспоминания Триоле о Маяковском «Воинствующий поэт» были написаны в 50-х годах для 56-го тома «Литературного наследства», посвященного поэту. Том этот так и не вышел в свет. По всей вероятности, власти не хотели, чтобы иконописный лик пролетарского поэта испортили какие-то ненужные биографические пятнышки. Года три назад воспоминания Триоле появились в нашей печати. Не будем ничего домысливать, а просто процитируем отдельные кусочки из текста мемуаров.

«Мне было уже шестнадцать лет, я кончила гимназию, семь классов, и поступила в восьмой, так называемый педагогический. Лиля, после кратковременного увлечения скульптурой, вышла замуж...»

Эльза и Маяковский встретились в «хвасовской гостиной, там, где стоял рояль и пальмы, было много чужих людей. Все шумели, говорили... Маяковский читал «Бунт вещей», впоследствии переименованный в трагедию «Владимир Маяковский»... я ничего не понимала, сидела девчонка девчонкой, слушала и теребила бусы на шее... нитка разорвалась, бусы покатались... Я под стол, собирать, а Маяковский за мной, помогать. На всю долгую жизнь запомнилась полутьма, портняжий сор, булавки, нитки, скользкие бусы и рука Маяковского, легшая на мою руку».

Дальнейший ход событий, опуская многие подробности: «Маяковский пошел меня провожать... Маяковский звонил мне по телефону, но я не хотела его видеть и встретила с ним случайно. Он шел по Кузнецкому мосту, на нем был цилиндр, черное пальто, и он помахивал тростью. Повел бровями, улыбнулся и спросил, может ли прийти в гости... но первое появление Маяковского в цилиндре и черном пальто, а под ним желтой кофте-распа-шонке, привело открывшую ему горничную в такое смятение, что она шарахнулась от него в комнаты за помощью...»

«А еще помню его за ужином: за столом папа, мама, Володя и я. Володя вежливо молчит, изредка обращаясь к моей матери с фразами, вроде: «Простите, Елена Юльевна, я у вас все котлеты сжевал...», и категорически избегал вступать в разговоры с моим отцом. Под конец вечера, когда родители шли спать, мы с Володией переезжали в отцовский кабинет... Но мать не спала, ждала, когда же Володя, наконец, уйдет, и по несколько раз, уже в халате, приходила его выгонять: «Владимир Владимирович, вам пора уходить!» Но Володя, нисколько не обижаясь, упирался и не уходил. Наконец мы в передней, Володя влезает в пальто и тут же попутно вспоминает о существовании в доме швейцара, которого придется будить и для которого у него даже гривенника на чай не найдется. Здесь кадр такой: я даю Володе двугривенный для швейцара, а в Володиной душе разыгрывается борьба между так называемым принципом, согласно которому порядочный человек не берет денег у женщины, и неприятным представлением о встрече с разбуженным швейцаром. Володя берет серебряную монетку, потом кладет ее на подзеркальник, опять берет, опять кладет... и наконец уходит навстречу презрительному гневу швейцара, но с незапятнанной честью...»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.